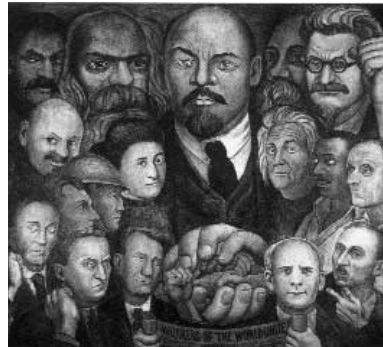


ПРЕДИСЛОВИЕ (1967 г.)



В старом автобиографическом очерке (1933 г.)¹ я назвал свое развитие в молодости моим путем к Марксу. Собранными в этом томе работами отмечены на этом пути годы учения марксизму в собственном смысле этого слова. Издавая важнейшие документы этого времени (1918-1930 гг.), собранные в данном томе², я хочу тем самым как раз подчеркнуть присущий им характер опытов, никоим образом не приписывая им актуального значения в сегодняшней борьбе за подлинный марксизм. Ибо при господствующей ныне великой неуверенности в том, что следует рассматривать как сущностное, непреходящее содержание последнего, как его постоянный метод, подобное четкое разграничение является заповедью интеллектуальной порядочности. С другой стороны, и сегодня известное документальное значение могут иметь попытки правильно постичь сущность марксизма при условии достаточно критичного отношения как к ним самим, так и к современному положению. Собранные здесь работы, поэтому, не только проливают свет на стадии лично моего духовного развития, но вместе с тем показывают этапы общего пути, знание которых, при сохранении достаточно критичной дистанции, не безразлично также для понимания современного положения, для движения вперед, отправляющегося от его базиса.

Предисловие (1967)

Естественно, я не смогу правильно охарактеризовать мою позицию в отношении марксизма около 1918 года, не остановившись вкратце на ее предыстории. Как я отмечаю, в упомянутом выше автобиографическом очерке, я уже гимназистом прочел некоторые произведения Маркса. Позже, в 1908 году, я также проработал «Капитал», чтобы найти социологическое обоснование для моей монографии о современной драме³. Ибо тогда меня интересовал Маркс-«социолог», увиденный через методологические очки, отшлифованные, прежде всего, Зиммелем и Максом Вебером. Во время первой мировой войны я возобновил свои марксистские штудии, на этот раз уже руководствуясь общеполитическими интересами, – под уже преимущественным влиянием не тогдашних представлений «наук о духе», а Гегеля. Конечно, это воздействие Гегеля тоже было весьма двойственным. С одной стороны, в период моего развития в молодые годы значительную роль играл Кьеркегор; перед войной, в Гейдельберге, я даже хотел написать статью, в которой собирался монографически рассмотреть его критику Гегеля. С другой стороны, в силу противоречивости моих общественно-политических взглядов установилась моя духовная связь с синдикализмом, прежде всего – с философией Ж. Сореля. Я стремился выйти за рамки буржуазного радикализма, отвергая при этом социал-демократическую теорию, прежде всего в лице Каутского. Эрвин Сабо, духовный вожь левой оппозиции в венгерской социал-демократической партии, привлек мое внимание к Сорелю. На это наложились знакомство во время войны с трудами Розы Люксембург. Из всего этого возникла внутренне противоречивая амальгама в теории, которая определяла мое мышление в военные и первые послевоенные годы.

Мне кажется, когда [исследователи] стремятся подвести под общий знаменатель кричащие противоречия этого периода в стиле «наук о духе» и сконструировать органическое имманентно-духовное развитие, то уходят от фактической правды. Коль скоро уже Фаусту позволительно было иметь две души в своей груди, то почему нельзя констатировать противоречивое функционирование противоположных духовных тенденций в мышлении вполне нормального человека, который в условиях мирового кризиса с позиций одного класса переходит на позиции другого? По крайней мере, насколько мне удастся осмыслить эти годы, я обнаруживаю в моем тогдашнем мыслительном мире симультанные тенденции к освоению марксизма и политической активизации, с одной стороны, и к постепенному усилению чисто идеалистических подходов при решении этических вопросов, с другой.

Чтение моих тогдашних статей может лишь подтвердить симультанность резких противоположностей. К примеру, когда я думаю о не слишком многочисленных и не слишком значительных статьях литературного характера, написанных в это время, мне кажется, что они часто превосходят мои более ранние работы по агрессивности и парадоксальности своего идеализма. Вместе с тем, однако, происходит также процесс неудержимого освоения марксизма. И если я теперь усматриваю в этом дисгармоническом дуализме главную линию, характеризующую дух этих лет моей жизни, то отсюда отнюдь не следует, что

Георг Лукач

надо впадать в другую крайность, рисовать черно-белую картину, в соответствии с которой динамика этой противоречивости исчерпывается борьбой революционного добра со скверными буржуазными пережитками. Переход с позиций одного класса на позиции другого, специфически враждебные первым, – это намного более сложный процесс. При этом я ретроспективно могу констатировать применительно ко мне самому, что ориентация на Гегеля, этический идеализм со всеми его романтическо-антикапиталистическими элементами принесли с собой также кое-что позитивное для моего рождавшегося из этого кризиса мировоззрения. Естественно, после того, как они были преодолены в качестве господствующих или даже только отчасти доминирующих тенденций, после того, как они – во многом в фундаментально модифицированном виде – стали элементами нового, теперь уже единого мировоззрения. Более того, здесь, видимо, уместно отметить, что даже мое интимное знание капиталистического мира входило в этот новый синтез как нечто отчасти позитивное. Я никогда не был подвержен той ошибке, которую мне часто случалось наблюдать у многих рабочих, у мелкобуржуазных интеллигентов. В конечном счете, им все-таки импонировал капиталистический мир. Меня предохраняла от этого моя идущая еще от отроческих лет презрительная ненависть к жизни при капитализме.

Но путаница – это не всегда хаос. В ней содержатся тенденции, которые хотя и могут порой на какой-то срок усилить внутренние противоречия, но которые, в конечном счете, толкают, тем не менее, в направлении разрешения последних. Именно так этика устремилась в направлении практики, деятельности и тем самым – в направлении политики. Именно так последняя в свою очередь устремилась в направлении экономики, что вело к углублению теоретической позиции, то есть в конечном итоге – к философии марксизма. Естественно, речь идет о тенденциях, которые объективно развертываются достаточно долго и неравномерно. Такая направленность начала проявляться уже во время войны, после того, как разразилась революция в России. «Теория романа», как я отмечал это в предисловии к ее новому изданию⁴, возникла тогда, когда я находился в состоянии полного отчаяния; не удивительно, что современность в ней на манер Фихте изображалась как состояние законченной греховности, что открываемая ею перспектива выхода за рамки этого состояния приобретала чисто воздушно-утопический характер. Только русская революция также и для меня открыла в самой действительности перспективу будущего; это произошло уже со свержением царизма и по-настоящему – только со свержением капитализма. Наше знание фактов и принципов тогда было весьма ограниченным и весьма недостоверным. Несмотря на это, мы видели, что – наконец-то! наконец-то! – для человечества был открыт выход из войны и капитализма. Конечно, даже когда мы говорим об этом энтузиазме, не следует приукрашивать прошлое. Я тоже, – говоря здесь исключительно о своих собственных делах, – пережил краткий промежуточный период, когда колебания перед принятием окончательного, окончательно правильного решения на какой-то момент породили неудачный духовный наряд, украшенный абстрактно-безвкусными аргументами. Но удержаться от принятия

Предисловие (1967)

решения в любом случае было невозможно. Маленькая статья «Тактика и этика» раскрывает внутренние, человеческие мотивы этого решения.

По поводу немногих статей, написанных во время существования Венгерской Советской республики и ее подготовки, не следует тратить много слов. Мы были, – я тоже и даже, наверное, прежде всего, – духовно очень в малой степени подготовлены к овладению великими задачами. Энтузиазмом мы пытались с грехом пополам заменить недостающие знания и опыт. Я упомяну только один, весьма важный здесь факт: нам была почти неизвестна ленинская теория революции, существенно продвинувшая вперед марксизм в этой области. На иностранные языки были переведены и доступны нам тогда лишь немногие статьи и брошюры Ленина; а участники русской революции отчасти имели мало теоретических задатков (подобно Самуэли), отчасти духовно находились по существу под влиянием русской левой оппозиции (подобно Бела Кунару). Более основательно познакомиться с Лениным-теоретиком я сумел лишь во время венской эмиграции. Так что в моем тогдашнем мышлении тоже имел место противоречивый дуализм. Отчасти я не способен был тогда занять принципиально правильные позиции по отношению к роковым, фундаментальным ошибкам оппортунистов в политике, как, например, по отношению к чисто социал-демократическому решению аграрного вопроса. Отчасти же мои собственные мыслительные устремления тянули меня в области культурной политики в абстрактно-утопическом направлении. Сегодня, почти через полстолетия, я удивляюсь, что в этой области нам удалось все-таки сделать относительно не так мало такого, чему было суждено продолжение в жизни. (Дабы не выходить здесь из области теории, я хотел бы заметить, что обе статьи – «Что такое ортодоксальный марксизм?» и «Изменение функций исторического материализма» – были написаны в своей первой редакции уже в этот период. Для книги «История и классовое сознание» они хотя и были переработаны, но никоим образом не поменяли своей основной направленности).

Венская эмиграция, прежде всего, открывает собственно годы моего учения. Это относится в первую очередь к знакомству с трудами Ленина. Конечно, это было такая учеба, которая ни на мгновение не отрешалась от революционной деятельности. Надо было прежде всего вновь оживить традицию революционного рабочего движения в Венгрии: найти такие лозунги и меры, которые представлялись пригодными для того, чтобы сохранить и укрепить его облик также в условиях белого террора; отбить клеветнические измышления о диктатуре, будь то чистых реакционеров или социал-демократов, и одновременно приступить к марксистской самокритике пролетарской диктатуры. Наряду с этим в Вене мы попали в поток международного революционного движения. Венгерская эмиграция была тогда там, наверное, самой многочисленной и расколотой, но никак не единственной. В качестве эмигрантов в Вене жили, непродолжительно или длительно, товарищи из балканских стран, из Польши; к тому же Вена была также интернациональной пересадочной станцией, где мы сталкивались непрерывно с немецкими, французскими, итальянскими и т.д.

Георг Лукач

коммунистами. Стало быть, не удивительно, что при подобных обстоятельствах возник журнал «Коммунизм», который на некоторое время стал главным органом ультралевых течений в III Интернационале. Наряду с австрийскими коммунистами, венгерскими и польскими эмигрантами, которые образовали внутренний штаб и круг постоянных сотрудников журнала, его устремлениям симпатизировали итальянские ультралевые, как, например, Бордига, Террачини, голландские – Паннекук и Роланд Хольст, и т.п.

Дуализм тенденций моего развития, о котором уже шла речь, при подобных обстоятельствах не только достиг своей кульминации, но даже приобрел примечательную новую – двойную, теоретическую и практическую – форму кристаллизации. Как член внутреннего коллектива журнала «Коммунизм», я живо принимал участие в разработке «левой» политическо-теоретической линии. Она основывалась на тогда еще весьма живучей вере, что великая революционная волна, которая в короткий срок приведет к социализму весь мир, по крайней мере всю Европу, никоим образом не разбилась в поражении в Финляндии, Венгрии и в Мюнхене. Такие события, как Капповский путч, занятие фабрик в Италии, польско-советская война, даже мартовская акция, усилили в нас это убеждение в стремительном приближении мировой революции, в скором тотальном преображении всего культурного мира. Безусловно, когда заходит речь о сектантстве начала 20-х годов, не следует смешивать его с той сталинской разновидности сектантства, которая развилась благодаря сталинской практике. Сталин стремился, прежде всего, уберечь от всякой революционной реформы существующие властные отношения, а стало быть, его сектантство по своим целям носило консервативный, по своим методам – бюрократический характер. В основе мессианства 20-х годов, напротив, лежали мессианско-утопические цели, а в основе его методов – резко антибюрократические тенденции.

Общим для двух этих одноименных направлений, таким образом, является только название, внутренне же они представляют собой непримиримые противоположности. (Конечно, верно то, что уже тогда в III Интернационале проявились бюрократические замашки Зиновьева и его учеников. Фактом является и то, что последние, омраченные болезнью годы Ленина были обременены заботой о том, как можно справиться с помощью пролетарской демократии с растущей, спонтанно происходящей бюрократизацией Советской республики. Но и в этом, очевидно, проявляется противоположность между сегодняшним и тогдашним сектантством. Моя статья об организационных вопросах в Венгерской коммунистической партии была направлена против теории и практики ученика Зиновьева Бела Куна).

Наш журнал задавался целью способствовать мессианскому сектантству тем, что во всех вопросах он разрабатывал ультрарадикальные методы, что в каждой области он провозглашал тотальный разрыв со всеми рожденными буржуазным миром институтами, формами жизни и т.д. Благодаря этому надлежало получить более высокое развитие не фальсифицированному классовому сознанию авангарда, коммунистических партий, коммунистических молодежных

Предисловие (1967)

организаций. Моя полемическая статья, направленная против участия в буржуазных парламентах, была типичным примером этой тенденции. Постигшая ее судьба, – она была подвергнута ленинской критике, – сделала для меня возможным первый шаг к преодолению сектантства. Ленин указал на решающее различие, даже противоположность, между тем, что какой-то институт изжил себя во всемирно-историческом смысле и должен быть заменен другим – как, например, парламент Советами, и выводом отсюда о тактическом отказе от участия в парламентах. Вывод отсюда следовал прямо противоположный. Эта критика, справедливость которой я тотчас же признал, заставила меня более дифференцированно и опосредствованно связывать мои исторические перспективы с повседневной тактикой, и постольку она означает начало поворота в моих воззрениях, но все-таки – поворота только в рамках мировоззрения, остающегося по существу все еще сектантским. Это обнаружилось год спустя, когда я хотя и критически рассматривал отдельные тактические ошибки, сделанные в ходе мартовской акции, но, тем не менее, продолжал некритически и сектантски поддерживать ее в целом.

Именно здесь наиболее резко проявляется как содержательно, так и внутренне противоречивый дуализм в моих тогдашних политических, равно как и философских, воззрениях. В то время как в международной жизни я располагал возможностью свободно проявлять всю интеллектуальную страсть моего революционного мессианства, постепенно организовывавшееся коммунистическое движение в Венгрии поставило меня перед решениями, отдаленные и непосредственные последствия которых я по ходу дела должен был принимать к сведению и делать основой очередных решений. В подобной ситуации я, естественно, пребывал уже во время существования Венгерской Советской республики. И необходимость ориентировать мышление не только на мессианские перспективы привела и тогда к некоторым реалистическим шагам как в Народном комиссариате просвещения, так и в дивизии, где я осуществлял политическое руководство. Столкновение с фактами, нужда в исследовании того, что Ленин назвал «ближайшим звеном в цепи», однако, стали теперь несравненно более непосредственными и интенсивными, чем когда-либо раньше в моей прежней жизни. Как раз чисто эмпирический с виду характер содержания подобных решений возымел далеко идущие последствия для моей теоретической установки. Она должна была сообразоваться с объективными ситуациями и тенденциями. Стало быть, коль скоро надо было прийти к принципиальному, правильно обоснованному решению, то при проработке такового никогда не следовало ограничиваться непосредственно фактичностью. Напротив, нужно было постоянно стремиться к тому, чтобы открыть те, часто скрытые, опосредствования, которые повели к подобной ситуации; и, прежде всего, – пытаться предвидеть те ситуации, которые, по всей вероятности, проистекут из нее, определяя последующую практику. То есть сама жизнь продиктовала мне духовное поведение, которое часто вступало в противоречие с моим идеалистически-утопическим, революционным мессианством.

Георг Лукач

Дилемма становилась еще более острой вследствие того, что в практическом руководстве венгерской коммунистической партии на противоположной стороне стояли сектанты современно-бюрократической разновидности, представленные группой ученика Зиновьева Бела Куна. Чисто теоретически я мог бы отвергнуть его воззрения как псевдолевые, конкретно же с его предложениями можно было бороться только апелляцией к в высшей степени прозаической повседневной действительности, связываемой лишь с помощью весьма далеких опосредствований с великой перспективой мировой революции. И, как это часто бывало в моей жизни, здесь мне лично тоже посчастливилось. Во главе оппозиции к Бела Куну стоял Евгений Ландлер, человек не только высокого, но, прежде всего, практического ума, также с большим вкусом к теоретическим проблемам, если только они, пусть даже весьма опосредствованно, были реально связаны с революционной практикой. Это был человек, чья глубочайшая внутренняя установка определялась его внутренней связью с жизнью масс. Его протест против бюрократическо-авантюристических проектов Куна показался мне убедительным уже в самый первый момент, и когда разразились фракционные распри, я всегда стоял в них на его стороне. Не имея здесь возможности коснуться даже важнейших и часто также теоретически интересных деталей этих внутренних партийных распрей, я хотел бы только обратить внимание на то, что методологическая раздвоенность в моем мышлении превратилась в теоретическо-практическую: в великих интернациональных вопросах революции я продолжал оставаться приверженцем ультралевых тенденций, в то время как в качестве члена руководства венгерской компартии был ожесточенным противником куновского сектантства. Особенно разительно это обнаружилось в начале 1921 года. По венгерской линии, следуя Ландлеру, я энергично защищал антисектантскую политику и одновременно по линии международной был теоретическим приверженцем мартовской акции. Тем самым была достигнута кульминация этой симультанности противоположных тенденций. С углублением расхождений в венгерской компартии, с началом самостоятельного движения радикально настроенных пролетарских слоев в Венгрии и на мое мышление также, естественно, оказывали все более сильное влияние проистекающие отсюда теоретические тенденции. Впрочем, на этом этапе они еще не приобрели всеобъемлющего превосходства, хотя ленинская критика сильно потрясла мой взгляд на мартовскую акцию.

В подобное, внутренне кризисное, переходное время родилась книга «История и классовое сознание». Окончательный вариант ее был написан в 1922 году. В ее состав отчасти входили переработанные старые тексты. Наряду с уже упоминавшимися статьями 1919 года, к ним относится также текст «Классовое сознание», написанный в 1920 году. Обе статьи о Розе Люксембург, а также статья «Легальность и нелегальность» были включены в сборник без существенных изменений. Стало быть, совершенно новыми были только два, правда, решающе важных исследования: «Овеществление и сознание пролетариата» и «Методологические заметки к вопросу об организации». (Предварительным

Предисловие (1967)

материалом для последней послужила опубликованная непосредственно вслед за мартовской акцией в 1921 году статья «Организационные вопросы революционной инициативы»). Так что с литературной точки зрения «История и классовое сознание» является подытоживающим завершением периода моего развития, начавшегося в последние годы войны. Правда, завершением, которое уже содержит в себе, по крайней мере, отчасти, тенденции переходной стадии к большей ясности, пусть даже эти тенденции тогда не смогли получить настоящего развития.

Эта незавершенная борьба противоположных духовных устремлений, из которых ни об одном нельзя говорить как о всегда победоносном или всегда терпящем поражение, превращают и сегодня в непростое дело единую оценку и характеристику книги. Но все-таки стоит попытаться, по крайней мере, вкратце подчеркнуть доминирующие мотивы. При этом, прежде всего, бросается в глаза то, что «История и классовое сознание», – что отнюдь не согласовывалось с интенциями ее автора, – объективно защищает такую тенденцию в рамках истории марксизма, которая хотя и выказывает очень сильные отличительные черты как в философском обосновании, так и в политических выводах, но в целом тем не менее, вольно или невольно, направлена против оснований онтологии марксизма. Я имею в виду тенденцию к пониманию марксизма исключительно как учения об обществе, как социальной философии, к игнорированию или отбрасыванию присущего марксизму отношения к природе. Уже перед первой мировой войной представителями этого направления были такие, в остальном очень по-разному ориентированные, марксисты, как Макс Адлер и Луначарский; в наши дни с ним приходится сталкиваться – вероятно, совсем не без влияния «Истории и классового сознания» – прежде всего в форме французского экзистенциализма и его духовного окружения. Моя книга занимает в этом вопросе весьма решительную позицию: природа – это общественная категория, утверждается в книге в разных местах. Совокупная концепция сводится к тому, что философски значимым является только познание общества и живущего в нем человека. Уже имена представителей этой тенденции показывают, что речь не идет о подлинном направлении; сам я тогда знал Луначарского только по имени, а к Макс Адлеру всегда относился отрицательно как к кантоницу и социал-демократу. Несмотря на это, при более детальном рассмотрении обнаруживаются определенные общие черты. С одной стороны, оказывается, что именно материалистическое понимание природы влечет за собой действительно радикальное размежевание между буржуазным и социалистическим мировоззрением, что уклонение от этого [проблемного] комплекса ослабляет потенциал философской мысли, например, не давая более четко очертить марксистское понятие практики. С другой стороны, это мнимое методологическое возвышение общественных категорий оказывает неблагоприятное воздействие на их истинные познавательные функции. Скрадывается также их специфически марксистское своеобразие, часто имеет место бессознательный отказ от того, в чем они выходят за пределы буржуазного мышления.

Георг Лукач

В своей критике я ограничиваюсь здесь, естественно, исключительно «Историей и классовым сознанием», не будучи склонным при этом поощрять ту точку зрения, что подобный отход от марксизма у других авторов с аналогичной установкой было менее серьезным. В моей книге он, этот отход, тотчас же вносит путаницу в решающие вопросы, оказывая обратное воздействие на понимание самой политической экономии, которая здесь по логике вещей должна в методологическом плане занимать центральное место. Хотя делается попытка прояснить все идеологические феномены, исходя из их экономического базиса, но политическая экономия понимается заужено, поскольку из нее выпадает фундаментальная марксистская категория – труд как посредник в обмене веществ между обществом и природой. Это, однако, является естественным выводом из подобной фундаментальной методологической установки. Следствие ее заключается в том, что исчезают важнейшие реальные устои марксистского мировоззрения, а попытка со всей возможной радикальностью сделать конечные революционные выводы из марксизма остается без подлинного экономического обоснования. Само собой понятно, что должна исчезнуть и онтологическая объективность природы, составляющая бытийную основу указанного обмена веществ. Но вместе с тем исчезает одновременно также то взаимодействие, которое устанавливается между трудом, рассматриваемым с подлинно материалистической точки зрения, и развитием трудящегося человека. Великая идея Маркса, что даже «производство ради производства» есть не что иное, как «развитие богатства человеческой природы как самоцель», – находится вне той области, которую в состоянии охватить «История и классовое сознание». Капиталистическая эксплуатация утрачивает эту свою объективно-революционную сторону, и непонятным остается тот факт, что «это развитие способностей рода «человек», хотя оно вначале совершается за счет большинства человеческих индивидов и даже целых человеческих классов, в конце концов разрушит этот антагонизм и совпадет с развитием каждого отдельного индивида, что, стало быть, более высокое развитие индивидуальности покупается только ценой такого исторического процесса, в ходе которого индивиды приносятся в жертву»⁵.

Вследствие этого как изображение противоречий капитализма, так и изображение революционизации пролетариата невольно приобретают привкус доминирующего субъективизма. Вследствие этого налет узости и деформации появляется также на центральном именно для этой книги понятии практики. Также при рассмотрении этой проблемы я хотел исходить из Маркса и пытался очистить его понятия от любой позднейшей буржуазной деформации, сделать их пригодными для потребностей великого революционного переворота в условиях современности. Прежде всего, для меня было непререкаемым то, что следует радикально преодолеть чисто созерцательный характер буржуазного мышления. Таким образом, концепция революционной практики в этой книге приобретает нечто прямо-таки преувеличенное, что соответствовало мессианскому утопизму тогдашнего левого коммунизма, но не подлинному учению Маркса. Понятным по условиям времени образом, в полемике с буржуазными

Предисловие (1967)

и оппортунистическими воззрениями в рабочем движении, которые возвеличили изолированное от практики, мнимо объективное, на деле же оторванное от всякой практики познание, я выступал – относительно правомерно – против завышения роли и чрезмерно высокой оценки созерцания. Марксова критика Фейербаха еще более укрепила эту мою установку. Я только не замечал, что, не имея в качестве базиса действительной практики труда, как ее изначальной формы и ее модели, гипертрофированное понятие практики должно было превратиться в идеалистическую контемпляцию. Так, я хотел отграничить правильное и подлинное классовое сознание пролетариата от всякого эмпирического «исследования общественного мнения» (это выражение, конечно, еще не было в ходу в ту пору), придать классовому сознанию неоспоримую практическую объективность. Но тогда я сумел дойти только до формулировки о «вмененном классовом сознании». Я имел в виду то, о чем пишет Ленин в работе «Что делать?», когда говорит, что в противоположность стихийно возникающему тред-юнионистскому сознанию социалистическое классовое сознание привносится в рабочий класс «извне», то есть извне экономической борьбы, извне сферы отношений между рабочими и предпринимателями⁶. Стало быть, то, что у меня было предметом субъективных интенций, стало у Ленина результатом подлинно марксистского анализа практического движения в рамках общественной целостности. Но в моем изложении это стало чисто духовным результатом и значит, – чем-то существенно созерцательным. Превращение «вмененного» сознания в революционную практику, если подойти к делу объективно, оказывается здесь самым натуральным чудом.

Это превращение некоторой интенции, вполне правильной, если рассматривать ее саму по себе, в противоположность тому, что имелось в виду, происходит из уже упомянутой абстрактно-идеалистической концепции самой практики. Отчетливо это обнаруживается в ходе полемики против Энгельса, опять-таки не вполне несправедливой, который усматривает в эксперименте и промышленности те типичные случаи, когда практика выступает как критерий теории. С той поры для меня стало очевидной теоретической основой неполноты тезиса Энгельса, которая состоит в том, что область практики (без изменения ее фундаментальной структуры) в ходе ее развития стала более обширной, сложной, опосредствованной, чем простой труд. Вследствие этого простой акт производства предмета, конечно, может стать основой непосредственно правильной реализации теоретического допущения и постольку выступать в качестве критерия его правильности или ложности. Тем не менее, задача, которую Энгельс ставит здесь перед непосредственной практикой, а именно, положить конец кантовскому учению о «непостижимой вещи в себе», далеко еще не решается этим. Ибо сам труд может очень легко свестись к простой манипуляции и – спонтанно либо сознательно – проскочить мимо решения вопроса о «вещи в себе», проигнорировать ее целиком или частично.

История демонстрирует нам примеры практически правильных действий на основе совершенно ложных теорий, неспособных постичь вещь в себе в

Георг Лукач

смысле Энгельса. Да и сама кантовская теория никоим образом не отрицает познавательную ценность, объективность экспериментов этого рода, она просто помещает их в царство явлений, сохраняя непознаваемость вещи в себе. И сегодняшний неопозитивизм стремится исключить из науки всякий вопрос о действительности (о вещи в себе), вопрос о вещи в себе она отклоняет как «ненаучный»; и это – при [одновременном] признании всех результатов технологии и естествознания. Стало быть, чтобы практика была в состоянии выполнять ту функцию, которую правильно требовал от нее Энгельс, она должна, оставаясь практикой, становиться все более всеобъемлющим праксисом, возвышаться над этой непосредственностью.

Мои тогдашние сомнения по отношению к энгельсовскому решению проблемы не были, таким образом, бесосновательными. Но тем более неверной была, между тем, моя аргументация. Совершенно неправильным было утверждение, будто эксперимент является чистейшей воды созерцательным образом действий. Мое собственное описание опровергает доводы в пользу этого утверждения. Ибо искусственное создание некоторой ситуации, в которой подлежащие изучению силы природы могут действовать «свободно», без задержек и помех со стороны объективного мира, без ошибок в наблюдении со стороны субъекта, – это и есть телеологическое полагание, каковым является и сам труд; конечно, это – телеологическое полагание особого рода, но все-таки по сути своей это – настоящая практика. Столь же неправильно было отрицать, что индустрия является практикой и считать, что в диалектико-историческом смысле она является лишь объектом, а не субъектом естественноисторических законов общества. То, что – отчасти, весьма отчасти – правильно в этом утверждении, относится только к экономической целостности капиталистического производства. Этому, однако, никоим образом не противоречит то обстоятельство, что каждый отдельный акт промышленного производства является не только синтезом телеологических актов труда, но одновременно именно в этом синтезе представляет собой телеологический, – стало быть, практический, – акт. Подобные философские искривления являются платой за то, что «История и классовое сознание» избирает своим исходным пунктом в анализе экономических феноменов не труд, а единственно лишь сложную структуру развитой товарной экономики. Это с самого начала делает бесперспективным философское восхождение к таким решающим вопросам, как отношение теории к практике, субъекта к объекту.

В этих и подобным им в высшей степени проблематичных исходных пунктах проявляется влияние гегелевского наследия, которое не было последовательно материалистически переработано и тем самым снято в двойном смысле понятия «снятие». Я останавливаюсь опять-таки на центральной, принципиальной проблеме. Конечно, большой заслугой «Истории и классового сознания» было то, что она вновь отвела категории тотальности, которую социал-демократический оппортунизм с его «научностью» совершенно предал забвению, то методологически центральное место, которое она всегда занимала в

Предисловие (1967)

произведениях Маркса. Я не знал тогда, что для Ленина были характерны аналогичные тенденции (его «Философские тетради» были опубликованы через 9 лет после появления «Истории и классового сознания»). Но в то время как Ленин и в этом вопросе также действительно обновлял Марксов метод, я вновь пришел к гегелевским преувеличениям, утверждая методологически центральное место тотальности в противоположность тезису о первичности экономики: «Не господство экономических мотивов в объяснении истории решающим образом отличает марксизм от буржуазной науки, а точка зрения тотальности». Методологическая парадоксальность этого утверждения еще более усиливается тем, что в [понятии] тотальности усматривается категориальный носитель революционного принципа в науке: «Господство категории тотальности есть носитель революционного принципа в науке»⁷.

Несомненно, подобные методологические парадоксы сыграли в воздействии «Истории и классового сознания» немаловажную и во многих отношениях даже прогрессивную роль. Ибо, с одной стороны, опора на гегелевскую диалектику означала мощный удар по ревизионистской традиции; ведь уже Бернштейн хотел под предлогом заботы о «научности» удалить из марксизма в первую очередь все то, что напоминало о гегелевской диалектике. А его теоретические противники, прежде всего Каутский, были как нельзя более далеки от мысли о защите этой традиции. Первейшим долгом тех, кто хотел осуществить революционный возврат к марксизму, стало быть, явилось обновление гегелевских традиций марксизма. «История и классовое сознание» знаменует собой, наверное, самую радикальную тогда попытку вновь сделать актуальной революционность марксизма путем возрождения и дальнейшего развития гегелевской диалектики и ее метода. Этот замысел стал еще более злободневным вследствие того, что в то же самое время в буржуазной философии все больше усиливались течения, пытавшиеся возродить Гегеля. Безусловно, они, с одной стороны, никогда не совершали вместе с Гегелем философский разрыв с Кантом; а с другой стороны, они под воздействием Дильтея ориентировались на возведение теоретических мостов между гегелевской диалектикой и современным иррационализмом. Через некоторое время после появления «Истории и классового сознания» Кронер охарактеризовал Гегеля как величайшего иррационалиста всех времен, а Левит позже изобразил Маркса и Кьеркегора как параллельные явления, рожденные распадом гегельянства. На контрастном фоне всех этих течений обнаруживается, насколько актуальной была постановка вопроса, свойственного «Истории и классовому сознанию». С позиций идеологии радикального рабочего движения она была актуальной также потому, что в ней на задний план была отодвинута посредническая роль Фейербаха между Гегелем и Марксом, которая весьма переоценивалась Плехановым и другими. Лишь несколько позже, предвосхищая на годы публикацию ленинских философских штудий, я открыто высказал в статье о Мозесе Гессе идею о том, что Маркс непосредственно опирался на Гегеля; но содержательно эта позиция уже лежит в основе многих рассуждений в «Истории и классовом сознании».

Георг Лукач

При таком, по необходимости суммарном, рассмотрении невозможно под-
вергнуть конкретной критике отдельные тезисы книги, а именно показать, где
интерпретация Гегеля открывала в ней новые перспективы, а где моя книга ис-
казила суть дела. Современный читатель, если он способен к критике, конечно,
найдет некоторые примеры обоих типов. Но для тогдашнего воздействия, а так-
же для возможной актуальности книги в условиях современности решающее
значение, выходящее за рамки всех отдельных тезисов, имеет одна проблема:
проблема отчуждения, которая здесь впервые со времен Маркса трактовалась
как центральный вопрос революционной критики капитализма, чьи теоретико-
исторические, равно как и методологические корни возводились к гегелевской
диалектике. Естественно, проблема носилась в воздухе. Несколько лет спустя,
благодаря «Бытию и времени» Хайдеггера, она оказалась в фокусе философских
дискуссий и не утратила этого места еще и сегодня, чем существенным образом
способствовала влиянию Сартра, его учеников и оппонентов. Здесь можно оста-
вить без внимания филологический вопрос, который поставил, прежде всего, Л.
Гольдман, который усмотрел в хайдеггеровском труде отдельные полемические
реплики по адресу моей, правда, оставшейся не названной книги. Сегодня впол-
не достаточно констатации, что проблема носилась в воздухе. В особенности
потому, что здесь невозможно более детально рассмотреть существующие осно-
вы такого положения вещей, дабы прояснить причины продолжающегося взаи-
мопереплетения, смешения марксистских и экзистенциалистских мыслитель-
ных мотивов, в особенности во Франции, непосредственно после окончания
второй мировой войны. При этом не вызывают большого интереса приоритеты,
«влияния» и т.д. Но важным остается то, что отчуждение человека было равным
образом познано и признано как центральная проблема эпохи, в которой мы жи-
вим, и буржуазными, и пролетарскими, и стоящими на правых социально-поли-
тических позициях, и левыми мыслителями. Так что «История и классовое со-
знание» оказала глубокое воздействие на круги молодой интеллигенции; я знаю
целый ряд хороших коммунистов, которые были обретены коммунистическим
движением именно благодаря этой книге. Несомненно, новая постановка этой
Гегелево-Марксовой проблемы коммунистами способствовала тому, что моя
книга оказала воздействие далеко за пределами партии.

Что касается трактовки самой проблемы, сегодня не слишком трудно за-
метить, что она была выдержана в чисто гегелевском духе. Прежде всего, надо
подчеркнуть, что ее конечное философское основание составляет реализую-
щий себя в историческом процессе тождественный субъект-объект. Конечно,
его возникновение у самого Гегеля имеет логическо-философский характер: с
достижением высшей ступени абсолютного духа в философии, которое сопро-
вождается отрешением от овнешнения, возвратом самосознания к себе самому,
осуществляет себя тождественный субъект-объект. Напротив, в «Истории и
классовом сознании» этот процесс должен быть общественно-историческим, а
его кульминация состоит в том, что пролетариат, оставаясь тождественным
субъектом-объектом истории, осуществляет в своем классовом сознании эту

Предисловие (1967)

ступень. Кажется, будто тем самым Гегель фактически «поставлен» [с головы] на ноги; кажется, будто логическо-метафизическая конструкция «Феноменологии духа» обрела онтологически подлинное осуществление в бытии и сознании пролетариата, будто философия в свою очередь обосновывает историческую миссию пролетариата, заключающуюся в создании путем революции бесклассового общества и завершении предьстории человечества. Но является ли тождественный субъект-объект на самом деле чем-то большим, нежели чисто метафизической конструкцией?

Создается ли сколь угодно адекватным самопознанием, даже если оно становится базисом адекватного познания общественного мира, – то есть даже при наличии сколь угодно завершеного самосознания, – тождественный субъект-объект? Надо только корректно поставить этот вопрос, чтобы дать на него отрицательный ответ. Ибо содержание познания можно вновь соотнести с познающим субъектом, – познавательная активность тем самым еще не утрачивает своего овнешненного характера. Гегель, и как раз в «Феноменологии духа», с полным правом отверг мистически-иррациональное осуществление тождественного субъекта-объекта, «интеллектуальное созерцание» Шеллинга, и потребовал философски-рационального решения проблемы. Присущее ему здоровое реалистическое чутье побудило его оставить это требование только требованием; созданная им конструкция мира, в самом общем ее виде, хотя и увенчивается перспективой выполнения этого требования, но Гегель нигде в своей системе не показывает, как этого можно достичь. Стало быть, понятие пролетариата как тождественного субъекта-объекта действительной истории человечества не может достичь своего материалистического осуществления, преодолевающего мыслительные конструкции идеализма, но является скорее попыткой переиграть самого Гегеля. Это понятие является такой конструкцией, которая своим смелым мыслительным возвышением над всякой действительностью объективно превосходит то, с чем мы имеем дело у мастера.

Эта осторожность Гегеля имеет своим идейным базисом экстравагантность его фундаментальной концепции. Ибо у Гегеля проблема отчуждения в первый раз предстает как основной вопрос положения человека в мире, его отношения к миру. Но у Гегеля отчуждение, обозначаемое термином «овнешнение», является одновременно полаганием всякой предметности. Поэтому додуманное до конца отчуждение тождественно с полаганием предметности. Тождественный субъект-объект должен поэтому, снимая отчуждение, одновременно снимать также предметность. Но поскольку предметы вообще существуют у Гегеля лишь как овнешненное самосознание, их обращение в достояние субъекта означало бы конец предметной действительности, то есть вообще всякой действительности.

«История и классовое сознание» следует Гегелю постольку, поскольку в этой книге отчуждение тоже уравнивается с опредмечиванием (если использовать терминологию «Экономическо-философских рукописей 1844 года» Маркса). Это фундаментальное и грубое заблуждение, безусловно, во многом способствовало успеху «Истории и классового сознания». Мыслительное разобла-

Георг Лукач

чение отчуждения, как уже было показано, тогда носилось в воздухе; очень скоро оно стало центральным вопросом той критики культуры, объектом изучения которой стало положение человека в условиях современного капитализма.

Буржуазно-философская критика культуры – достаточно вспомнить о Хайдеггере – была весьма склонна к тому, чтобы сублимировать общественную критику в чисто философскую, превратить по сути своей общественное отчуждение в вечное «условие человеческого существования», если употребить возникший позже термин. Легко уяснить, что этот способ изложения, характерный для «Истории и классового сознания», отвечал таким установкам, пусть даже автор следовал в этой книге другим, прямо противоположным идеям. Хотя отчуждение, отождествленное с опредмечиванием, рассматривалось как общественная категория (социализм как раз и должен ликвидировать отчуждение), однако неустранимость его существования в классовых обществах и, прежде всего, его философское обоснование сближали, тем не менее, это понятие с понятием «условие человеческого существования».

Это является следствием вновь и вновь акцентируемого в книге ложного отождествления противоположных категорий. Ведь опредмечивание на самом деле есть неустранимый способ проявления общественной жизни людей. А если принять во внимание, что всякая объективация в процессе практики, и прежде всего сам труд, является опредмечиванием, что всякий человеческий способ выражения, как то язык, человеческие мысли и чувства, опредмечиваются и т.д., то становится очевидным: мы здесь имеем перед собой общечеловеческую форму общения между людьми. Как таковая, эта форма опредмечивания, конечно, является нейтральной в ценностном плане: правильное в той же мере представляет собой опредмечивание, как и ложное, освобождение, – как и порабощение. Лишь когда опредмеченные формы выполняют в обществе такие функции, которые порождают противоречие между сущностью человека и его бытием, которые посредством общественного бытия угнетают, искажают, уродуют человеческую сущность и т.д., тогда возникают объективные общественные отношения отчуждения и, в качестве его необходимого следствия, все субъективные признаки внутреннего отчуждения. Этот дуализм не был распознан в «Истории и классовом сознании». Отсюда проистекают сложность и перекос в фундаментальной философско-исторической концепции книги. (Что феномен овеществления, чрезвычайно родственной феномену отчуждения, но ни социально, ни категориально не тождественный с ними, тоже употреблялся в книге в качестве синонима отчуждения, – это следует заметить только мимоходом).

Эта критика основных категорий не может быть исчерпывающей. Но даже при неукоснительном ограничении центральными вопросами следует хотя бы вкратце упомянуть отрицание аспекта отражения в познании [характерное для «Истории и классового сознания»]. Оно имеет два источника. Первым было глубокое отвращение к механическому фатализму, который обыкновенно шел рука об руку с механическим материализмом, и против которого страстно протестовал мой тогдашний мессианский утопизм, протестовало доминирова-

Предисловие (1967)

ние практики в моем мышлении, каковой протест опять-таки не был совершенно не обоснованным. Второй мотив проистекал из осознания истоков и укорененности практики в труде. Самый примитивный труд, уже простой отбор камней первобытным человеком, предполагает правильное отражение действительности, с которой он непосредственно соприкасается. Ни одно телеологическое полагание невозможно успешно осуществить без какого-то, пусть даже самого примитивного, непосредственного отображения действительности, которая этим полаганием практически подразумевается. Практика может быть выполнением и критерием теории лишь потому, что в основе всякой практики онтологически, в реальном качестве предпосылки лежит отображение действительности, рассматриваемое как правильное отображение. Здесь неуместно было бы останавливаться на деталях возникшей при этом полемики, на правомерности отрицания фотографического характера отражения, которое ему приписывается расхожими теориями отражения.

Как мне кажется, я не противоречил себе тем, что говорил здесь исключительно о негативных сторонах «Истории и классового сознания», считая, тем не менее, что в свое время, в своем роде эта книга совсем не была незначительным произведением. Уже тот факт, что все перечисленные здесь ошибки имели своим источником не столько частные особенности автора, сколько крупные, хотя нередко содержательно ложные тенденции того периода времени, придает книге в известной мере репрезентативный характер. Могучий, всемирно-исторический переход стремился тогда выразить себя теоретически. Пусть даже изложенная тут теория выразила не объективную сущность великого кризиса, а только типичную позицию в отношении его фундаментальных проблем, и в этом случае исторически она могла возыметь определенное значение. Так и произошло, как мне сегодня представляется, с «Историей и классовым сознанием».

При этом вышеизложенное никоим образом не подразумевает, что все без исключения мысли, выраженные в этой книге, являются ложными. Конечно, дело обстоит не так. Уже вводные замечания к первой статье дают такое определение марксистской ортодоксии, которое, по моему сегодняшнему убеждению, не только является объективно правильным, но даже и сейчас, на пороге ренессанса марксизма, может иметь серьезное значение. Я имею в виду следующее рассуждение: «Допустим (хотя это не так), что новейшими исследованиями была бы неопровержимо показана содержательная неправильность всех отдельных тезисов Маркса. Всякий серьезный «ортодоксальный» марксист мог бы безоговорочно признать эти новые результаты, отвергнуть все тезисы Маркса по отдельности, ни на минуту не отказываясь от своей марксистской ортодоксии. Ортодоксальный марксизм, стало быть, означает не не критическое признание Марксовых исследований, не «веру» в тот или иной тезис, не истолкование «священной» книги. Ортодоксия в вопросах марксизма, напротив, относится исключительно к методу. Это – научное убеждение, что диалектическим материализмом был найден правильный метод исследования, что этот метод можно разрабатывать, продолжать и углублять лишь в духе его основопо-

Георг Лукач

ложников. Что все попытки преодолеть или «улучшить» его вели и должны были приводить лишь к его опошлению, к тривиальности, к эклектике»⁸.

Не испытывая ощущения крайней нескромности, я полагаю, что в книге можно найти еще немало столь же верных мыслей. Упомяну лишь о включении произведений молодого Маркса в совокупную картину его мировоззрения, в то время как тогдашние марксисты, в общем, склонны были видеть в них лишь исторические документы его личного развития. Десятилетиями позже это отношение было перевернуто таким образом, что молодой Маркс всячески изображался подлинным философом, а его зрелые произведения серьезно недооценивались. В этом «История и классовое сознание» не повинна, ибо в ней Марксово мировоззрение – правильно или неправильно – неизменно рассматривается как по сути своей единое.

Не следует отрицать также и того, что в ряде мест содержатся подходы к изложению диалектических категорий в их действительной бытийной объективности и движении, и тем самым прокладывается путь, ведущий к подлинной марксистской онтологии общественного бытия. К примеру, категория опосредствования определяется так: «Категория опосредствования как методологический рычаг для преодоления голой непосредственности эмпирии не является, стало быть, чем-то привносимым в предметы извне (субъективно), не является ценностным суждением, или долженствованием, противостоящим их бытию, но представляет собой раскрытие самой их подлинной, объективной, предметной структуры»⁹. Или, в тесной связи с этими мыслями, – разъяснение взаимосвязи между генезисом и историей: «Возможность того, что генезис и история совпадают или, точнее сказать, составляют моменты одного и того же процесса, возможно лишь потому, что, с одной стороны, все категории, в которых выстраивается человеческое существование, выступают как определения самого этого существования (а не только его постижимости); с другой стороны, потому, что их последовательность, их взаимосвязь и их соединение проявляются как моменты самого исторического процесса, как структурная характеристика современности. Последовательность и внутренняя взаимосвязь категорий, следовательно, и не образуют чисто логического ряда, и не упорядочиваются сообразно чисто исторической фактичности»¹⁰. Этот ход мысли логически завершается цитатой из знаменитого методологического рассуждения Маркса 50-х годов. Фрагменты, для которых свойственно подобное предвосхищение подлинно диалектико-марксистского истолкования и обновления Маркса, являются нередкими [в книге].

И если я здесь все-таки сконцентрировался на критике ошибочного, то это имеет существенные практические причины. Фактом является то, что «История и классовое сознание» оказывала на многих читателей сильное впечатление и оказывает его еще и сегодня. Коль скоро при этом действенными являются правильные ходы мысли, все в порядке, а мое отношение к ним как автора является совершенно неважным и неинтересным. К сожалению, мне известно, что в силу причин исторического порядка и в силу формируемой ими теорети-

Предисловие (1967)

ческой установки к самым действенным и влиятельным моментам в книге принадлежит то, что я рассматриваю сегодня как теоретически ложное. Поэтому я считаю себя обязанным при переиздании моей работы более чем через 40 лет сказать свое слово, прежде всего, об этих негативных ее тенденциях и предостеречь ее читателей от ложных решений, которых тогда, наверное, было трудно избежать. А ныне дело уже далеко не обстоит именно так.

Я уже указал на то, что «История и классовое сознание» в определенном смысле была резюме и завершением периода моего развития, начавшегося в 1918-1919 годах. Последующие годы делали это все более очевидным. Прежде всего, все больше утрачивал реальную (и даже только кажущуюся реальной) почву мессианский утопизм этого периода. В 1924 году умер Ленин. И партийные битвы после его смерти все сильнее сосредоточивались на вопросе о возможности построения социализма в одной стране. Конечно, сам Ленин задолго до этого говорил о такой теоретической, абстрактной возможности. Но казавшаяся близкой перспектива мировой революции оттеняла тогда ее чисто теоретический, абстрактный характер. То, что теперь дискуссия шла, напротив, о реальной, конкретной возможности, свидетельствовало, что в эти годы едва ли можно было дальше всерьез рассчитывать на близкую перспективу мировой революции. (На какое-то время она вновь обрисовалась только вследствие экономического кризиса 1929 года). В дополнение к этому III Интернационал после 1924 года с полным правом определил состояние капиталистического мира как «относительную стабилизацию». Эти факты означали также для меня необходимость теоретической переориентации. Весьма отчетливо начало решающего изменения [в моих взглядах] показало то, что в дискуссиях в РКП (б) я стоял на стороне Сталина, на позиции признания возможности социализма в одной стране.

Однако непосредственно это изменение существенным образом определялось, прежде всего, опытом партийной работы, накопленным в рядах Венгерской коммунистической партии. Свои плоды стали приносить правильная линия ландлеровской фракции. Строго нелегально работающая партия приобретала все большее влияние на левое крыло социал-демократии, так что в 1924-1925 гг. стали возможными раскол [социал-демократической] партии, основание радикальной, но сориентированной на легальность рабочей партии. Эта партия, нелегально руководимая коммунистами, поставила перед собой в качестве стратегической задачи установление демократии в Венгрии, увенчивающейся требованием республики, в то время как собственно нелегальная коммунистическая партия придерживалась старого стратегического лозунга о диктатуре пролетариата. Тогда я был тактически согласен с этим решением, но только во мне зародился и все больше усиливался целый комплекс мучительных, не разрешенных проблем, касающихся теоретической оправданности сложившегося положения.

Уже эти ходы мысли начали подрывать духовные основания периода [моего развития] между 1917 и 1924 годами. Наряду с этим ставшее столь очевидным замедление темпа развития мировой революции неизбежно подталкивало в направлении кооперирования всех до известной степени левых обществен-

Георг Лукач

ных элементов в борьбе против поднимающейся и усиливающейся реакции. Для нелегальной и леворадикальной рабочей партии в условиях режима Хорти в Венгрии это было чем-то само собой разумеющимся. Но и международное движение тоже выказывало тенденции, указывающие в этом направлении. Уже в 1922 году состоялся марш на Рим, а в последующие годы в Германии произошло усиление национал-социализма, росла сплоченность всех реакционных сил. Поэтому нужно было ставить на повестку дня проблемы единого фронта и народного фронта, а также продумывать их теоретически, равно как стратегически и тактически. При этом в редких случаях можно было ожидать каких-то ориентировок от III Интернационала, который все сильнее подпадал под влияние сталинской тактики. Эта тактика колебалась то влево, то вправо. Сталин в высшей степени роковым образом умножил эту теоретическую неуверенность, назвав в 1928 году социал-демократов «близнецами» фашистов. Этим была захлопнута дверь перед любым единым фронтом левых сил. Хотя в центральном для Советской России вопросе я стоял на стороне Сталина, я считал глубоко отталкивающей эту его позицию. Тем в меньшей степени она тормозила мой постепенный отход от ультралевых тенденций первых революционных лет, к тому же большинство левых группировок в европейских компартиях исповедовали троцкизм, в отношении которого я всегда занимал отрицательную позицию. Конечно, если взять Германию, политическая жизнь которой меня занимала более всего, то, выступая против Рут Фишер и Маслова, я никоим образом не должен был обязательно испытывать симпатии к Брандлеру и Тальгеймеру. Я стремился тогда к самоуяснению, к достижению политического самопонимания относительно «подлинно» левой программы, которая могла бы противопоставить этим противоположностям, выявившимся, например, в Германии, нечто третье. Мечта о таком теоретически-политическом разрешении противоречий переходного времени осталась, однако, только мечтой. Мне так и не удалось найти удовлетворяющее даже только меня самого решение, и в этот период я совсем не выступал как практик и теоретик перед международной общественностью.

По-иному складывалась ситуация в рабочем движении в Венгрии. Ландлер умер в 1928 году, а в 1929 году партия готовила свой второй съезд. На меня была возложена задача написать проект политических тезисов съезда. Это поставило меня лицом к лицу с моей старой проблемой в венгерском вопросе: может ли партия одновременно ставить перед собой две различные стратегические цели (легальную – республика, нелегальную – республика Советов)? Или, если взглянуть на проблему с другой стороны: может ли партийная позиция в отношении государственной формы диктоваться по своему содержанию чисто тактической целесообразностью (то есть можно ли расценивать перспективу подпольного коммунистического движения как истинное целеполагание, а перспективу легальной партии – как чисто тактическую меру)? Детальный анализ социально-экономического положения в Венгрии все больше убеждал меня в том, что Ландлер, выдвинув в свое время стратегический лозунг республики, инстинктивно затронул центральный вопрос правильной революционной пер-

Предисловие (1967)

спективы для Венгрии: даже в случае столь глубокого кризиса, какой переживал режим Хорти, кризиса, который создает объективные условия основополагающего переворота, для Венгрии невозможен прямой переход к республике Советов. Легальный лозунг республики следует, поэтому, конкретизировать в духе Ленина, ориентируясь на то, что он назвал в 1905 году демократической диктатурой рабочих и крестьян. Для большинства сегодня трудно понять, насколько парадоксальным казался тогда этот лозунг. Хотя VI конгресс Коминтерна упомянул эту возможность как возможность, общепринятым было мнение, что поскольку в Венгрии в 1919 году уже существовала Советская республика, шаг назад является исторически невозможным.

Неуместно было бы останавливаться здесь на этих расхождениях мнений. Тем более неуместно, что текст этих тезисов, каким бы революционизирующим ни было их воздействие на все мое дальнейшее развитие, едва ли может сегодня рассматриваться как все еще теоретически важный документ. Мое изложение для этого не являлось и не является ни достаточно принципиальным, ни достаточно конкретным, что отчасти было обусловлено также и тем, что я ослабил очень многие детали, рассматривал их чересчур общо, дабы сделать приемлемым главное содержание [проекта политических тезисов]. Но и при всем этом в Венгерской коммунистической партии разразился великий скандал. Группа Куна усмотрела в тезисах чистейший оппортунизм. Их поддержка моей собственной фракцией была довольно прохладной. Когда я узнал из достоверного источника, что Бела Кун подготавливает мое исключение из партии, как «ликвидатора», я отказался от дальнейшей борьбы, зная о влиятельности Куна в Коминтерне, и опубликовал «самокритику». Хотя я и был уже тогда крепко убежден в правильности моей точки зрения, но знал также, например, по судьбе Карла Корша, что тогда исключение из партии означало невозможность активного участия в борьбе против поднимающегося фашизма. Как «входной билет», обеспечивающий допуск к такой деятельности, я и написал эту «самокритику», поскольку при создавшихся обстоятельствах уже более не хотел и не мог работать в венгерском рабочем движении.

О том, насколько не всерьез относился я к этой самокритике, свидетельствует факт, что поворот в фундаментальной установке, который лежал в основе тезисов (правда, не получая в них сколько-нибудь адекватного выражения), с этой поры определил руководящую нить моей дальнейшей теоретической, равно как и практической деятельности. Само собой понятно, что даже самый сжатый очерк этого процесса уже больше не вмещается в рамки данных размышлений. Лишь в качестве документального подтверждения того, что здесь речь идет не о субъективной фантазии автора, но об объективных фактах, я приведу некоторые относящиеся к «Тезисам Блюма»¹¹ замечания Йозефа Реваи (1950-го года), где он, как ведущий идеолог партии, изображает мои тогдашние литературные воззрения как прямые следствия «Тезисов Блюма»: «Кто знаком с историей венгерского коммунистического движения, тот знает, что литературные воззрения, отстаивавшиеся товарищем Лукачем в 1945-1949 годах, находятся

Георг Лукач

во взаимосвязи с его гораздо более ранними политическими воззрениями, которые он отстаивал в конце 20-х годов применительно к политическому развитию в Венгрии и стратегии коммунистической партии»¹².

Этот вопрос имеет еще и другой, более важный для меня аспект, благодаря которому происшедший здесь поворот приобретает совершенно четкий облик. Читателю этих работ станет ясно, что к решению активно примкнуть к коммунистическому движению меня весьма существенным образом побудили также этические мотивы. Когда я делал этот шаг, я не догадывался, что на целое десятилетие превращаюсь тем самым в политика. Так распорядились обстоятельства. Когда в феврале 1919 года был арестован Центральный Комитет партии, я опять-таки посчитал своим долгом принять предложенное мне место в созданном взамен его полуподпольном временном ЦК. Дальше драматической чередой последовали Народный комиссариат просвещения в Венгерской Советской Республике и политический народный комиссариат в Красной Армии, подпольная работа в Будапеште, фракционные битвы в Вене и т.д. И только теперь передо мной вновь выросла реальная альтернатива. В результате моей внутренней приватной самокритики созрело решение: коль скоро моя работа была настолько очевидной, насколько это имело место, и коль скоро, тем не менее, я вынужден был потерпеть столь оглушительное поражение, то, стало быть, весьма проблематичными являются мои практическо-политические способности. Поэтому я способен был отселе со спокойной совестью отказаться от политической карьеры и вновь сконцентрироваться на теоретической деятельности. Я никогда не раскаивался в этом решении. (Этому отнюдь не противоречит, что в 1956 году я вынужден был принять пост министра. Соглашаясь на это, я заявил, что делаю это лишь на переходный период, на время обострения кризиса; как только последует консолидация, я немедленно уйду в отставку).

В анализе моей теоретической деятельности в более узком смысле после выхода в свет «Истории и классового сознания» я перепрыгнул через полдесятка лет и только сейчас могу несколько более обстоятельно остановиться на произведениях этого периода. Нарушение хронологии является правомерным потому, что теоретическое содержание «тезисов Блюма» составляло тайный *terminus ad quem* моего развития, о чем я, естественно, не подозревал даже в самой отдаленной мере. И только тогда, когда я начал применительно к конкретному и важному вопросу, в котором сходились самые различные проблемы и определения, преодолевать комплекс внутренне противоречивого дуализма, с конца войны характеризовавшего мое мышление, – только тогда можно было считать закончившимися годы моего учения марксизму. Теперь следует очертить это развитие, завершением которого как раз и являются «тезисы Блюма», основываясь на моей тогдашней теоретической продукции. Мне кажется, что зафиксированная с самого начала ясность относительно того, куда вел этот путь, облегчает задачи такого изложения, в особенности, если принять во внимание то, что в это время я концентрировал свою энергию, прежде всего, на практических задачах венгерского коммунистического движения, и что моя те-

Предисловие (1967)

оретическая продукция состояла преимущественно из работ, написанных по случайным поводам.

Уже первая и самая большая по объему из этих работ – попытка нарисовать интеллектуальный портрет Ленина – является, в буквальном смысле слова, случайной работой. Сразу после кончины Ленина мой издатель предложил мне написать короткую монографию о нем; я последовал этому предложению и закончил это небольшое произведение за немногие недели. Оно знаменует собой шаг вперед в сравнении с «Историей и классовым сознанием» постольку, поскольку концентрация внимания на великой модели помогла мне постичь понятие практики более ясно, в более истинной, онтологичной, диалектической взаимосвязи с теорией. Естественно, перспектива мировой революции виделась здесь с позиций 20-х годов, однако отчасти благодаря опыту, накопленному за прошедшие короткие промежутки времени, отчасти благодаря концентрации на духовной личности Ленина, ярко выраженные сектантские черты, присущие «Истории и классовому сознанию», стали несколько приглушаться и заменяться чертами, более близкими действительности. В послесловии, которое я недавно написал для отдельного переиздания этого небольшого исследования¹³, я пытался более подробно, чем в нем самом, выявить в его фундаментальной установке то, что я все еще считаю здоровым и актуальным. Главное при этом состоит, прежде всего, в том, чтобы понять Ленина не как простого, теоретического продолжателя Маркса и Энгельса, не как гениально прагматического «реального политика», а в его истинном духовном своеобразии. Предельно лаконично этот образ Ленина можно очертить так: основой его теоретической мощи является то, что каждую категорию, – сколь бы абстрактно-философской она ни была, – он рассматривает с точки зрения ее действия в рамках человеческой практики, и что одновременно при анализе всякой деятельности, который у него всегда основывается на конкретном анализе данной конкретной ситуации, он ставит этот анализ в органическую и диалектическую связь с принципами марксизма. Таким образом, в строгом смысле слова, Ленин не является ни теоретиком, ни практиком, он является глубоким мыслителем практики, страстным поборником перевода теории в практику; он является человеком, чей пронизывающий взгляд всегда направлен на те точки перегиба, где теория переходит в практику, практика в теорию. Тот факт, что духовные рамки моего старого исследования, несущие на себе отпечаток исторического времени, когда разворачивалась эта диалектика, все еще характеризуются типичными чертами 20-х годов, – этот факт, правда, смещает кое-что в интеллектуальной физиономии Ленина, который особенно в последние годы своей жизни гораздо дальше шел в критике современности, чем данный его биограф. Но все-таки мой портрет по существу правильно передает ее, современности, главные черты, ибо теоретический и практический жизненный труд Ленина был также объективно и неразрывно связан с подготовкой революции 1917 года и ее неизбежными последствиями. Тот отсвет, который бросает на мой портрет менталитет 20-х годов, как мне кажется сегодня, придает некий не совсем

Георг Лукач

идентичный, но все-таки и не полностью чужеродный нюанс попытке адекватно понять специфическую особенность этой великой личности.

Все остальное, что я писал в последующие годы, является лишь работой по случайным поводам, не только внешне (по большей части это рецензии на книги), но также внутренне, так как я в поисках новой ориентации стихийно пытался прояснить свой собственный путь в будущее посредством отграничения от чуждых воззрений. По содержанию самой важной из этих работ, наверное, является рецензия на книгу Бухарина (для сегодняшнего читателя уместно заметить мимоходом, что в 1925 году, когда она была опубликована, Бухарин, наряду со Сталиным, был важнейшей фигурой руководящей группы в ВКП(б); разрыв между ними состоялся лишь через три года). Самая позитивная черта этой рецензии – конкретизация моих собственных взглядов в области экономики; она проявляется прежде всего в полемике против широко распространенного мнения, столь же свойственного коммунистическому вульгарному материализму, сколь и буржуазному позитивизму, будто в технике следует видеть объективно-побудительный и решающий принцип развития производительных сил. Очевидно, что тем самым утверждается исторический фатализм, исключаются [из философского поля зрения] человек и общественная практика, насаждается представление о том, что техника действует как общественная «природная сила», как «естественная закономерность».

Моя критика не только ведется здесь на исторически более конкретном уровне, чем это в большинстве случаев имеет место в «Истории и классовом сознании». Также самому механическому фатализму не просто противопоставляются волюнтаристические идеологические контраргументы. Напротив, предпринимается попытка трактовать сами экономические силы как ведущий в общественном плане и, стало быть, определяющий саму технику момент. Аналогичная установка присуща небольшой рецензии на книгу Виттфогеля. Теоретическая ущербность обеих работ в том, что механистический вульгарный материализм и позитивизм недифференцированно рассматриваются в них как единое направление, и даже создается впечатление, что первый многими способами поглощается последним.

Более важными являются рецензии на новые издания писем Лассалья и произведений Мозеса Гесса, которым присуща намного большая обстоятельность. В обеих рецензиях доминирует тенденция к тому, чтобы придать критике общества и общественного развития более конкретный экономический базис, нежели это способна была сделать «История и классовое сознание», поставить на службу познания установленных таким образом взаимосвязей критику идеализма, дальнейшее развитие гегелевской диалектики. Тем самым на вооружение берется критика представителей мнимого идеалистического преодоления Гегеля, которую осуществил молодой Маркс в «Святом семействе», подхватывается Марксов критический мотив, в соответствии с которым представители этих тенденций, стремясь субъективно выйти за рамки гегелевской философии, объективно лишь обновили фихтевский субъективный идеализм. На-

Предисловие (1967)

пример, консервативным мотивам в гегелевском мышлении соответствует то, что его философия истории не идет дальше показа современности в ее необходимости. И, конечно, это были субъективно революционные побуждения Фихте, в силу которых в фихтевской философии истории современность как «век законченной греховности» ставилась посередине между прошлым и – якобы философски познаваемым – будущим. Уже в ходе критики Лассаля было показано, что этот радикализм является чисто надуманным, что в познании действительного исторического движения гегелевская философия знаменует собой более высокий уровень, нежели фихтевская, поскольку она более реально, с меньшей примесью чистой идеальности конструирует объективно искомую общественно-историческую динамику опосредствования, каковой создается современность, нежели отсылка к будущему у Фихте. Симпатия Лассаля к подобным умственным течениям коренится в его чисто идеалистическом видении мира; последнее выступает против той посюсторонности, к которой должно было бы привести додумывание до конца экономически фундированного хода истории. Чтобы подчеркнуть дистанцию между Марксом и Лассалем, в рецензии цитируются высказывания последнего из его разговора с Марксом: «Если ты не веришь в вечность категорий, ты должен верить в Бога». Это энергичное выпячивание философски отсталых черт в мышлении Лассаля включало в себя тогда одновременную теоретическую полемику с течениями в социал-демократии, которые стремились вразрез с Марксовой критикой Лассаля сделать из него равноценного Марксу основоположника социалистического мировоззрения. Не касаясь этой темы прямо, я выступил против этой тенденции как буржуазной. И этот умысел помог мне в определенных вопросах подойти ближе к подлинному Марксу, чем это было возможно в «Истории и классовом сознании».

Рецензия на первое собрание сочинений Мозеса Гесса не имела политической актуальности подобного рода. Тем сильнее сказалось на ней моя потребность, рожденная именно моим приобщением к идеалам молодого Маркса, отграничиться от современных ему теоретиков, от левого крыла, возникшего в процессе разложения гегелевской философии, от часто тесно связанного с ним «истинного социализма». Этот намерение способствовало также тому, что здесь еще более энергично выступили на первый план тенденции к философской конкретизации проблем экономики и ее места в общественном развитии. Правда, еще отнюдь не была преодолена некритическая трактовка Гегеля, а критика в адрес Гесса исходит, как и в «Истории и классовом сознании», из мнимой тождественности опредмечивания и отчуждения. Прогресс по сравнению с прежней концепцией приобретает теперь парадоксальную форму: с одной стороны, против Лассаля и радикальных младогегельянцев обращаются те тенденции Гегеля, которые подводят к пониманию экономических категорий как общественных реальностей; с другой стороны, отстаивается непримиримая позиция по отношению к недialeктическим аспектам в критике Гегеля Фейербахом. Последний пункт ведет к уже отмеченному утверждению о непосредственной преемственности между Марксом и Гегелем, первый – к попыт-

Георг Лукач

ке более точного определения соотношения между экономикой и диалектикой. Так, например, опираясь на «Феноменологию духа», автор констатирует в связи с трансцендированием субъективного идеализма во всех его формах посюсторонность в социально-экономической диалектике Гегеля. Так, отчуждение также интерпретируется им таким образом, что оно не является «ни мыслительным образованием, ни «дурной» действительностью», а «представляет собой непосредственно данную форму существования современности в ее переходе к самопреодолению в историческом процессе». К этому примыкает направленность на достижение большей объективности при развертывании идей «Истории и классового сознания» относительно непосредственности и опосредствования в процессе развития общества. Самое важное в этих ходах мысли заключается в том, что они увенчиваются требованием нового рода критики, которая уже недвусмысленно пытается прямо опереться на Марксову «Критику политической экономии». После того, как автор достиг решающего и принципиального осознания ложности всей конструкции «Истории и классового сознания», это стремление приобрело облик плана исследования философских взаимосвязей между экономикой и диалектикой. Уже в начале 30-х годов, в Москве и Берлине был сделан первый приступ к его осуществлению: к созданию первой редакции моей книги о молодом Гегеле (которая была закончена только осенью 1937 года)¹⁴. Действительно овладеть этим проблемным комплексом я пытаюсь теперь, спустя 30 лет, в «Онтологии общественного бытия», над которой я сейчас работаю.

Не располагая соответствующими документами, я не могу сказать ничего определенного о том, насколько прогрессировали эти тенденции на протяжении трех лет, разделяющих статью о Гессе и «Тезисы Блюма». Мне кажется в высшей степени невероятным то, что практическая партийная работа, в которой вновь и вновь возникала необходимость в конкретных экономических анализах, не была для меня полезной также в плане развития моих теоретических взглядов на экономику. Во всяком случае, в 1929 году с появлением «Тезисов Блюма» последовал уже описанный выше большой поворот. С обретенными таким образом [новыми] взглядами я стал в 1930 году научным сотрудником московского Института Маркса и Энгельса. Здесь мне на помощь пришли два неожиданных счастливых случая: в Институте я получил возможность прочесть полностью расшифрованный рукописный текст «Экономическо-философские рукописей 1844 года» Маркса и познакомился с М. Лифшицем, что стало началом дружбы на всю жизнь. После прочтения этой работы Маркса вдребезги разбились все идеалистические предрассудки «Истории и классового сознания». Конечно, правы те, кто замечает, что я мог бы и раньше найти в прочитанных мною Марксовых текстах то, что так теоретически опрокинуло меня при изучении «Экономическо-философских рукописей».

Однако фактически этого не произошло; очевидно, потому, что я читал их с самого начала через призму осуществленной тогда мною самим гегелевской интерпретации, и только совершенно новый текст смог вызвать подобный шок.

Предисловие (1967)

(Естественно, к этому надо добавить, что тогда я в «Тезисах Блюма» уже преодолел общественно-политическую основу этого идеализма). Так или иначе, я могу еще и сегодня припомнить то потрясающее впечатление, которое оказали на меня слова Маркса о предметности как первично материальном свойстве всех вещей и отношений. С этим смыкался уже изложенный здесь вывод, что опредмечивание является естественным – будь то позитивным или же негативным – способом человеческого овладения миром, в то время как отчуждение представляет собой его особую разновидность, которая осуществляется при определенных общественных обстоятельствах. Тем самым были окончательно разрушены теоретические устои того, что составляло особенность «Истории и классового сознания». Книга стала для меня совершенно чужой, точно так же, как в 1918-1919 годах случилось с моими ранними произведениями. Для меня сразу же стало ясно: если я хочу осуществить свои устремления в области теории, то мне надо еще раз начать с самого начала.

Мне хотелось тогда письменно зафиксировать эту мою новую позицию и донести ее также для общественности. Попытка осуществить это желание, рукописное свидетельство которой было утрачено, оказалась безуспешной. Тогда это меня мало заботило: я находился в состоянии восторженного упоения новым началом. Но я видел также, что таковое начало может быть осмысленным лишь на базе весьма обширных новых исследований, что нужны многие обходные пути, дабы я внутренне оказался в таком положении, чтобы суметь научным, по-марксистски адекватным образом изложить то, что в «Истории и классовом сознании» увело меня на ложный путь: один из таких обходных путей я уже указал. Это был путь, который от исследования о молодом Гегеле через проект работы об экономике и диалектике вел к моей сегодняшней попытке создать онтологию общественного бытия.

Параллельно с этим у меня возникло желание применить мои познания в области литературы, искусства и их теории для построения марксистской эстетики. Здесь возникла первая совместная работа с М. Лифшицем. В результате многих бесед для нас обоих стало очевидным, что даже лучшие и самые способные марксисты, как, например, Плеханов и Меринг, недостаточно глубоко постигли мировоззренчески универсальный характер марксизма и поэтому не поняли того, что Маркс также ставит перед нами задачу построения систематической эстетики на диалектико-материалистической основе. Здесь не место описывать большие заслуги философского и филологического порядка, которые имеет Лифшиц в этой области. Что касается меня, в это время появилась моя статья о дебатах между Марксом и Энгельсом с одной стороны, и Лассалем, с другой, по поводу драмы последнего «Зикинген»¹⁵. В этой статье, естественно, в рамках особой проблематики, уже стали проглядывать очертания искомой концепции. Натолкнувшись поначалу на сильное сопротивление, в особенности со стороны вульгарной социологии, эта концепция между тем стала доминирующей в широких кругах марксистов. Дальнейшие указания на этот счет не относятся к обсуждаемой здесь теме. Я хотел бы лишь вкратце отметить, что опи-

Георг Лукач

санный выше общеполософский поворот в моем мышлении отчетливо выразился в ходе моей деятельности в качестве критика в Берлине (1931-1933 гг.). Характерно, не только то, что в центре моего интереса стояла проблема мимесиса, но также и то, что имело место применение диалектики к теории отражения, к чему я пришел, прежде всего, при критике натуралистических тенденций. Ведь в основе всякого натурализма лежит, с точки зрения теории, «фотографическое» отражение действительности. Четкий акцент на противоположности между реализмом и натурализмом, который отсутствуют как в вульгарном марксизме, так и в буржуазных теориях, является неотъемлемой предпосылкой диалектической теории отражения, а, следовательно, – также эстетики в духе Маркса.

Эти указания, хотя они прямо не относятся к рассматриваемому здесь кругу вопросов, надо было сделать уже для того, чтобы выявить направление и мотивы поворота, который означало для моего творчества осознание ложности основ «Истории и классового сознания». Он дает мне право отметить здесь пункт, где заканчиваются годы моего учения марксизму, а вместе с ними – ранний период моего развития. Теперь осталось лишь сделать несколько замечаний к моей ставшей одиозной самокритике, относящейся к «Истории и классовому сознанию». Я должен начать с признания, что на протяжении всей моей жизни я был в высшей степени безразличным к произведениям, которые я духовно оставлял позади себя. Так, через год после появления сборника «Душа и форма» в письме к Маргарет Зюсман, где я благодарил ее за рецензию на книгу, я писал о том, что «мне стали чужими книга в целом и ее форма». Также было с «Теорией романа», а в этот раз – и с «Историей и классовым сознанием».

Когда я в 1933 году вновь приехал в Советский Союз, когда здесь передо мной открылась перспектива плодотворной деятельности, – оппозиционная роль журнала «Литературный критик» в сфере теории литературы в 1934-1939 гг. является общеизвестной, – то для меня стало тактической необходимостью публичное дистанцирование от «Истории и классового сознания», дабы не создавать помех для настоящей партизанской борьбы против официальных и полуофициальных теорий литературы в виде контрударов со стороны противника, в которых он, по моему собственному убеждению, в содержательном плане имел бы правоту на своей стороне, какую убогой ни была бы при этом его аргументация. Естественно, чтобы получить возможность опубликовать такую самокритику в ту пору, мне нужно было подчиниться господствовавшему тогда языковому регламенту. Но лишь в этом и состоит момент приспособления в моем самокритичном заявлении. Оно опять-таки было входным билетом в дальнейшую партизанскую борьбу; ее отличие от более ранней самокритики в отношении «Тезисов Блюма» состояло «лишь» в том, что я тогда честно считал «Историю и классовое сознание» содержательно ошибочной книгой, как считаю и сегодня. Точно так же я считаю и сегодня правильным то, что я выступал против идентификации этой книги с моими подлинными устремлениями и позже, когда ее недостатки были превращены в модные лозунги. Четыре десятилетия, которые прошли после появления «Истории и классового сознания», изменения в ситуации борь-

Предисловие (1967)

бы за истинный марксистский метод, моя собственная продукция в этот период – все это, наверное, делает возможным теперь позицию, в меньшей степени грубо однозначную. Правда, в мои задачи не входит констатировать, в какой мере определенные тенденции и верные интенции «Истории и классового сознания» в моей собственной деятельности и, может быть, в деятельности других породили правильные, указывающие в будущее вещи. Здесь встает целый комплекс вопросов, решение которых я спокойно могу оставить суду истории.

Будапешт, март 1967 года

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ In: Georg Lukacs zum siebzigsten Geburtstag. – Berlin: Aufbau, 1955. – S. 225-231; abgedruckt in: Lukacs G. Schriften zur Ideologie und Politik. Hrsg. Von P. Ludz. – Neuwied: Luchterhand, 1967. – S. 323-329.

² Lukacs G. Werke. Bd. II. Frühschriften II. – Neuwied: Luchterhand, 1968. – Этот том, для которого было написано данное «Предисловие», помимо «Истории и классового сознания», содержит еще следующие работы: «Тактика и этика», «Речь на съезде молодых рабочих», «Правовой порядок и насилие», «Роль морали в коммунистическом производстве», «К вопросу о парламентаризме», «Моральное призвание коммунистической партии», «Оппортунизм и путчизм», «Кризис синдикализма в Италии», «К вопросу о работе в области образования», «Спонтанность масс – активность партии», «Организационные вопросы революционной инициативы», «Еще раз – иллюзорная политика», «Ленин. Очерк взаимосвязи его идей», «Триумф Бернштейна», «Н. Бухарин. Теория исторического материализма», «Новое издание писем Лассалья», «К.А. Виттфогель. Наука буржуазного общества», «Мозес Гесс и проблемы идеалистической диалектики», «О. Шпани. Учение о категориях», «К. Шмитт. Политическая романтика», «Тезисы Блюма».

³ Georg Lukacs. Entwicklungsgeschichte des modernen Dramas. Bd. I-II. – Budapest: 1911 (на венгерском языке).

⁴ Georg Lukacs. Die Theorie des Romans. – Neuwied: Luchterhand, 1963. – S. 5; ebenso 3. Auflage 1965.

⁵ Карл Маркс. Теории прибавочной стоимости. // Маркс К., Энгельс Ф. Т. 26. Ч. II. – С. 142.

⁶ В.И. Ленин. ПСС. – Т. 6. – С. 30 и далее.

⁷ Georg Lukacs. Geschichte und Klassenbewusstsein. – Berlin: Malik, 1923. – S. 94. – Здесь: С. 81.

⁸ Georg Lukacs. Geschichte und Klassenbewusstsein. – S. 13; здесь – С. 105.

⁹ Georg Lukacs. Geschichte und Klassenbewusstsein. – S. 178 f.; здесь – С. 248.

¹⁰ Georg Lukacs. Geschichte und Bewusstsein. – S. 175; здесь – С. 245.

¹¹ «Блюм» – партийная кличка Георга Лукача в годы венской эмиграции. – Прим. переводчика.

¹² Jozsef Revai. Literarische Studien. – Berlin: Dietz, 1956. – S. 235.

¹³ Georg Lukacs. Lenin. – Neuwied: Luchterhand, 1967. – S. 87 ff.

¹⁴ Дьердь Лукач. Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества. – М.: Наука, 1987.

¹⁵ In: Internationale Literatur. – Moskau. – 1933. – Jg. 3. – N 2. – S. 95-126.

ПРЕДИСЛОВИЕ (1922 г.)



Собранные вместе и изданные в виде книги, эти статьи не притязают на большее значение, нежели то, что подобает каждой из них в отдельности. По большей части они (за исключением статей «Овеществление и пролетарское сознание» и «Методологические заметки к вопросу об организации», написанных во время недобровольного досуга специально для этого сборника, хотя и для них основой также послужили работы по случайному поводу) родились в гуще партийной работы, как попытки прояснить для самого автора и для его читателей теоретические вопросы революционного движения. Даже если теперь они несколько переработаны, то это отнюдь не устранило присущего им характера работ по случайному поводу. Что касается отдельных статей, то подобная переработка, будь она по-настоящему радикальной, была бы равносильной уничтожению их подлинной сути. Так, например, в статье «Изменение функций исторического материализма» звучат те преувеличенно оптимистические надежды, которые многие из нас питали в ту пору относительно длительности и темпов революции и т.д. Стало быть, читателю не стоит ждать от этих статей систематически-научной исчерпывающей полноты.

Но, тем не менее, [в книге] существует определенная содержательная взаимосвязь. Она выражается в последовательности статей, которые поэтому лучше всего читать в порядке, в каком они даны. Правда, автор посоветовал бы

Предисловие (1922)

философски неподготовленным читателям сначала пропустить статью об овеществлении и прочесть ее только после того, как они завершат чтение всей книги.

Здесь следует дать в нескольких словах разъяснение, для многих читателей, наверное, излишнее, того, почему столь большое место на этих страницах занимает изложение и интерпретация учения Розы Люксембург, дискуссия с ней. Не только потому, что, по моему мнению, Роза Люксембург была единственным учеником Маркса, кто действительно продолжил его жизненный труд как в содержательно-экономическом, так и в методологическо-политическом смысле и в этом отношении *конкретно* связал его с современным уровнем общественного развития. При этом, конечно, надо учитывать, что на этих страницах в соответствии с их целью ведущее значение придается методологической стороне вопросов. Содержательно-экономическая правильность теории накопления Р. Люксембург, равно как и экономических теорий Маркса, не обсуждается, а только исследуется в ее методологических предпосылках и следствиях. Каждому читателю будет ясно и без того, что автор согласен с ними также в предметно-содержательном плане. Эти вопросы, однако, следовало более подробно осветить еще и потому, что для многих революционных марксистов вне России, в особенности в Германии, идейное направление Розы Люксембург было определяющим в области теории и отчасти остается таковым и сегодня – и с его плодотворными выводами, и с его ошибками. Всякий, кто из этого исходит, должен понять, что подлинно коммунистическая, революционная, марксистская позиция может быть завоевана лишь путем критического размежевания с теоретическими трудами Розы Люксембург.

Если мы становимся на этот путь, то решающее *методологическое* значение приобретают произведения и речи Ленина. На этих страницах не имелось в виду подробно останавливаться на политическом наследии Ленина. Но именно в силу этой сознательной односторонности и ограниченности своей задачи автор должен настоятельно напоминать о том, что означает *теоретик* Ленин для развития марксизма. Его огромная сила как политика скрывает сегодня для многих эту его роль как теоретика. Ибо актуально-практическая важность его отдельных высказываний в каждый данный момент была слишком велика для того, чтобы для всех стало очевидным, что предпосылкой такого воздействия в конечном счете являются глубина, величие и плодотворность Ленина как теоретика. Это воздействие основано на том, что Ленин возвел *практическую сущность* марксизма на никем до него не достигнутую ступень ясности и конкретности, что он спас этот момент от почти полного забвения и благодаря своему *теоретическому подвигу* снова дал нам в руки ключ к правильному пониманию марксистского метода.

Ибо все дело в том (таково фундаментальное убеждение автора этих строк) чтобы *правильно понять* сущность метода Маркса и правильно его применять, а отнюдь не в том, чтобы в каком-либо смысле его «улучшить». И если здесь в некоторых местах ведется полемика против отдельных высказываний

История и классовое сознание

Энгельса, то делается это, как должен заметить всякий проницательный читатель, исходя их духа всей системы, исходя из того понимания – верно оно или не верно, что в этих *отдельных* пунктах автор защищает точку зрения ортодоксального марксизма даже против Энгельса.

Но если автор, стало быть, придерживается учения марксизма без попыток от него отойти, его улучшить или подкорректировать, если эти рассуждения не притязают на что-либо большее, нежели на *интерпретацию*, истолкование учения Маркса *в смысле Маркса*, то эта «ортодоксия» отнюдь не равносильна намерению сохранить, если воспользоваться словами господина фон Струве, «эстетическую цельность» Марксовской системы. Напротив, ставя такую цель, автор исходит из представления, что в учении и методе Маркса *наконец-то* найден *правильный метод* познания общества и истории. Этот метод является историческим по своей глубочайшей сути. Поэтому само собой разумеется, что его следует беспрерывно применять к самому себе; в этом-то состоит один из существенных пунктов данных статей. Это включает в себя, однако, одновременно и определение предметно-содержательной позиции по актуальным проблемам современности, так как в соответствии с очерченным пониманием Марксовского метода его благороднейшей целью является *познание современности*. Методологическая ориентация этих статей не позволяла более обстоятельно останавливаться на конкретных вопросах современности. Поэтому автор хотел бы здесь заявить о том, что, по его мнению, опыт революционных лет блестяще подтвердил все существенные моменты ортодоксально (то есть по-коммунистически) понятного марксизма. Война, кризис и революция, так называемое замедление темпов развития революции и новая экономическая политика Советской России *включительно* не поставили ни одной проблемы, которую невозможно было бы решить именно с помощью понятного так диалектического метода, и *лишь с его помощью*. Конкретные ответы на отдельные практические вопросы выходят за рамки этих статей. Их задача в том, чтобы довести до нашего сознания Марксов метод, в истинном свете показать его бесконечную плодотворность для решения не разрешимых иначе проблем.

Этой цели должны служить также цитаты из произведений Маркса и Энгельса, которые могут показаться кому-то из читателей слишком обильными. Но всякая цитация есть одновременно интерпретация. И автору сдается, что некоторые, весьма существенные, стороны марксистского метода – и как раз те, что имеют как в их содержательной, так и в их систематической взаимосвязи решающее значение для понимания метода – были несправедливо забыты, и что вследствие этого стало трудным, и даже почти невозможным, понять жизненный нерв этого метода, *диалектику*.

Рассмотрение проблемы конкретной и исторической диалектики, однако, является невозможным без того, чтобы подробнее сказать об основоположнике этого метода, о Гегеле и его отношении к Марксу. Предостережение Маркса против третирувания Гегеля как «мертвой собаки», оказалось напрасным даже для многих хороших марксистов. Усилия Энгельса и Плеханова тоже не возымели

Предисловие (1922)

большого действия. При этом Маркс многократно резко подчеркивает эту опасность. Например, он пишет о Дицгене: «Его беда в том, что именно Гегеля он-то и не штудировал» (Письмо Энгельсу, 07.XI. 1868). А вот место из другого письма: «Господа в Германии <...> полагают, что гегелевская диалектика – это «мертвая собака». Многое в этом отношении – на совести Фейербаха» (02.01.1868). Маркс подчеркивает, «великую пользу», которую принесло ему пролистывание гегелевской «Науки логики» при определении метода критики политэкономии (14.01.1858). Но речь идет не о филологической стороне отношения Маркса к Гегелю, не о том, какого *мнения* придерживался Маркс относительно значения гегелевской диалектики для своего метода; речь идет о том, что значит *по сути* этот метод для марксизма. Высказывания Маркса, которых можно набрать сколько угодно, приведены лишь потому, что известные абзацы из предисловия к «Капиталу», где Маркс в последний раз публично высказался относительно своего отношения к Гегелю, во многом способствовали тому, что существенность и значение этого отношения к Гегелю недооценивались даже марксистами. Я имею в виду при этом не содержательную характеристику отношения, с которой я полностью согласен и которую я пытаюсь на этих страницах *методологически конкретизировать*. Я имею в виду исключительно слова о «коклетничании» с гегелевской «манерой выражения». Многих это подбило на то, чтобы рассматривать диалектику Маркса как поверхностную стилистическую добавку, которую в «интересах научности» надо как можно энергичнее вытравлять из метода диалектического материализма. Вот поэтому-то даже такие добросовестные исследователи, как господин профессор Форлендер, считают возможным точно констатировать, что Маркс, собственно, лишь в двух местах, а потом еще в одном, третьем, месте, «коклетничал» с гегелевскими понятиями, не замечая того, что целый ряд *постоянно используемых Марксом решающих категорий* метода взяты *прямо* из логики Гегеля. Если даже гегелевское происхождение и содержательно-методологическое значение такого основополагающего для Маркса различения, как различение между непосредственностью и опосредствованием, могло остаться незамеченным, то и сегодня можно, к сожалению, с полным правом сказать, что Гегель (несмотря на то, что он снова получил доступ в университеты и даже все равно что вошел в моду) все еще рассматривается как «мертвая собака». Ибо, что сказал бы господин Форлендер по поводу историка философии, который не заметил бы в трудах сколь угодно оригинального и критичного продолжателя кантовского метода, что, например, «синтетическое единство апперцепции» взято из «Критики чистого разума»? С подобными подходами автор этих работ хотел бы решительно порвать. Он полагает, что сегодня важно также и *практически* в этом отношении вернуться к традиции интерпретации Маркса, заложенной Энгельсом, который рассматривал немецкое рабочее движение как наследника немецкой классической философии, и Плехановым. Автор полагает, что все хорошие марксисты, по ленинским словам, должны стать своего рода «обществом материалистических друзей гегелевской диалектики».

Однако, ситуация с Гегелем сегодня является диаметрально противополо-

История и классовое сознание

ложной ситуации с самим Марксом. Если применительно к Марксу мы должны понять систему и метод в их взаимосвязи и единстве, — так, как они нам даны, — и сохранить это единство, то применительно к Гегелю задача является обратной: развести причудливо перекрещивающиеся и отчасти резко противоречащие друг другу тенденции, чтобы спасти методологически плодотворное в мышлении Гегеля как *живую духовную силу для современности*. Эта плодотворность и сила являются большими, чем полагают многие; и мне кажется, что чем энергичнее мы сумеем конкретизировать этот вопрос, для чего непременно нужно знание произведений Гегеля (позор, что приходится говорить об этом, но об этом надо сказать), тем яснее обнаружатся эта плодотворность и сила. Впрочем, это произойдет уже больше не в рамках замкнутой системы. Система Гегеля, какой мы ее видим, является историческим фактом. И даже при этом, по моему мнению, ее действительно проникновенная критика неизбежно установит то, что речь идет не о системе, которой присуще подлинное внутреннее единство, а о многих встроженных друг в друга системах. (Методологическое противоречие между «Феноменологией духа» и самой системой — это лишь один пример таких отклонений). И если Гегеля, стало быть, больше нельзя рассматривать как «мертвую собаку», то следует разбить мертвую архитектуру исторически данной системы, чтобы вновь суметь придать действенность и жизненность в высшей степени актуальным тенденциям его мышления.

Общезвестно, что сам Маркс носился с мыслью написать диалектику. «Правильные законы диалектики, — писал он Дицгену, — содержатся у Гегеля, впрочем, в мистической форме. Надо эту форму с них содрать». Автор этих страниц, — надеюсь, об этом не нужно говорить специально, — ни на секунду не притязает на то, чтобы дать даже очерк такой диалектики, но в его намерения входило развязать дискуссию в этом направлении, вновь — методологически — поставить на повестку дня этот вопрос. Поэтому использовалась любая возможность показа методологических взаимосвязей, чтобы как можно более конкретно выявить как те пункты, где категории гегелевского метода стали руководящими для исторического материализма, так и те пункты, где пути Гегеля и Маркса резко расходятся, чтобы тем самым доставить материал, и, по возможности, наметить направление для крайне нужной дискуссии по этому вопросу. Этим отчасти продиктовано подробное рассмотрение классической философии во втором разделе статьи об овеществлении. (Но лишь отчасти, ибо мне также представлялось необходимым однажды изучить противоречия буржуазного мышления именно там, где это мышление нашло свое высшее философское выражение).

Рассуждения вроде тех, что представлены на этих страницах, неизбежно страдают недостатком: они не отвечают — справедливому — требованию научной полноты и систематичности, не будучи взамен этого популярными. Я целиком сознаю этот недостаток. Изложение истории возникновения и замысла этих статей должно не столько служить в качестве извинения, сколько, напротив, сообщить импульс к тому, что является действительной целью этих работ: сделать предметом дискуссии вопрос диалектического метода, как живой и ак-

Предисловие (1922)

туальный вопрос. Если эти статьи положат начало или даже станут только поводом к такой действительно плодотворной дискуссии о диалектическом методе, такой дискуссии, которая позволит вновь добиться всеобщего осознания сущности этого метода, то они полностью выполняют свою задачу.

Говоря о недостатках, следует указать нетвердым в диалектике читателям еще на такую, впрочем, неизбежно вытекающую из сути диалектического метода, трудность. Я имею в виду вопрос об определении понятий и терминологии. К сущности диалектического метода принадлежит то, что им снимаются понятия, которые являются ложными в своей абстрактной односторонности. Этот процесс снятия, однако, делает одновременно необходимым, чтобы мы, тем не менее, все время оперировали этими односторонними, абстрактными и ложными понятиями; чтобы эти понятия получали свое правильное значение в меньшей степени с помощью определения, а в большей, – с помощью той методологической функции, какую они приобретают как снятые моменты в некоей тотальности. Но это изменение значения еще меньше можно терминологически зафиксировать в исправленной Марксом гегелевской диалектике, чем в самой гегелевской диалектике. Ибо, коль скоро понятия суть лишь мыслительные образы исторической действительности, то их односторонний, абстрактный и ложный образ принадлежит, как момент истинного единства, именно к этому истинному единству. Рассуждения Гегеля об этой терминологической трудности в предисловии к «Феноменологии духа», стало быть, являются еще более справедливыми, чем полагает сам Гегель, когда он говорит: «Так же как выражения: *единство* субъекта и объекта, конечного и бесконечного, бытия и мышления и т.д., – нескладны потому, что объект и субъект и т.д. означают то, что представляют *они собой вне своего единства*, и, следовательно, в единстве под ними подразумевается не то, что говорится в их выражении, – точно так же и ложное составляет момент истины уже не в качестве ложного»¹. При радикальной историзации диалектики эта констатация становится вдвойне диалектической. «Ложное» является моментом «истинного» одновременно в качестве «ложного» и в качестве «неложного». И если, стало быть, профессиональные «критики» Маркса говорят о его «недостаточной понятийной остроте», о простых «образах», подменяющих «дефиниции» и т.д., то они являют нам ту же самую неутешительную картину, что и критика Гегеля Шопенгауэром, попытка последнего показать «логические промахи» Гегеля: она показала совершенную неспособность Шопенгауэра понять даже азбучные истины диалектического метода. Последовательный диалектик, однако, будет видеть в такой неспособности не столько противоборство различных методов, сколько, напротив, *социальный феномен*, который, будучи постигнут как социально-исторический феномен, одновременно диалектически опровергается и снимается.

Вена. Рождество 1922 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Гегель. Феноменология духа. – М.: Соцэкономиздат, 1959. – С. 21.

ЧТО ТАКОЕ ОРТОДОКСАЛЬНЫЙ МАРКСИЗМ?



Философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его.

К. Маркс. Тезисы о Фейербахе

Этот, по сути, довольно простой вопрос не единожды становился предметом дискуссий как в буржуазных, так и пролетарских кругах. Но постепенно стало хорошим научным тоном лишь издевательски относиться к заявлениям о приверженности ортодоксальному марксизму. По-видимому, нет большого единодушия также в «социалистическом» лагере по поводу того, какие тезисы составляют квинтэссенцию марксизма, а какие, соответственно, «дозволено» критиковать или отвергать, не теряя права считаться «ортодоксальным марксистом». И стало казаться все более «ненаучным» схоластически излагать, будто библейские догматы, положения и высказывания из давно написанных трудов, уже отчасти «превзойденных» современными исследованиями, в них и только в них искать источник истины. Если бы вопрос ставился таким образом, то самым подходящим ответом на него, разумеется, была бы сочувственная усмешка. Однако так примитивно он не ставится (и никогда не ставился). Допустим (хотя это не так), что новейшими исследованиями была бы неопровержимо показана содержательная неправильность всех отдельных тезисов Маркса. Всякий серьезный «ортодоксальный» марксист мог бы безоговорочно признать эти новые результаты, отвергнуть все тезисы Маркса по отдельности, ни на минуту не отказываясь от своей марксистской ортодоксии. Ортодоксальный марк-

Что такое ортодоксальный марксизм?

сизм, стало быть, означает не не критическое признание Марксовых исследований, не «веру» в тот или иной тезис, не истолкование «священной» книги. Ортодоксия в вопросах марксизма, напротив, относится исключительно к методу. Это – научное убеждение, что диалектическим материализмом был найден правильный метод исследования, что этот метод можно разрабатывать, продолжать и углублять лишь в духе его основоположников. Что все попытки преодолеть или «улучшить» его вели и должны были приводить лишь к его опощлению, к тривиальности, к эклектике.

1.

Материалистическая диалектика – это революционная диалектика. Данное определение является настолько важным, имеет столь кардинальное значение для понимания ее сущности, что его следует уяснить в первую очередь, еще до рассмотрения самого диалектического метода, если мы хотим занять правильную позицию по интересующему нас вопросу. При этом речь идет о вопросе соотношения теории и практики. И не только в том его смысле, в каком он сформулирован в первой критической работе Маркса о Гегеле: «<...> Теория становится материальной силой, как только она овладевает массами»¹. Помимо этого как в теории, так и в том способе, каким она овладевает массами, должны быть выявлены те моменты, те определения, которые превращают теорию, диалектический метод в рычаг революции; практическую сущность теории надо вывести из нее самой и из отношения теории к ее предмету. Ибо в противном случае такое «овладение массами» могло бы оказаться пустою видимостью. Могло статься, что массы в своем движении руководствуются совершенно иными побудительными мотивами, борются за совершенно другие цели, а теория означает для их движения лишь чисто случайное содержание, такую форму, в которой они осознают свою общественно-необходимую или случайную деятельность, в то время как этот акт осознания не имеет сущностной и действительной связи с самой деятельностью.

В той же работе о Гегеле Маркс ясно высказался об условиях возможности такого отношения между теорией и практикой: «Недостаточно, чтобы мысль стремилась к воплощению в действительность, сама действительность должна стремиться к мысли»². Или, в одном из более ранних произведений: «При этом окажется, что мир уже давно грезит о предмете, которым можно действительно овладеть, только осознав его»³.

Такое отношение сознания к действительности впервые делает возможным единство теории и практики. Только тогда, когда осознание знаменует собой *решающий шаг*, который в процессе исторического развития нужно сделать на пути к имманентной ему, складывающейся из человеческих волений, но независимой от человеческого произвола, не измышленной человеческим умом цели; лишь тогда, когда историческая функция теории состоит в том, чтобы сделать практически возможным этот шаг; лишь тогда, когда складывается

История и классовое сознание

историческая ситуация, при которой правильное познание общества становится для класса непосредственным условием его победы в борьбе; лишь тогда, когда для этого класса самопознание одновременно означает правильное познание общества в целом; лишь тогда, когда в силу этого данный класс является одновременно субъектом и объектом такого познания и, таким образом, теория непосредственно и адекватно вторгается в процесс революционного преобразования общества; – лишь тогда и становится возможным единство теории и практики, возникают предпосылки для выполнения теорией революционной функции. Подобная ситуация сложилась с вступлением пролетариата на историческую арену. «Возвещая *разложение существующего миропорядка*, пролетариат раскрывает лишь тайну своего собственного бытия, – пишет Маркс, – ибо он *есть фактическое разложение этого миропорядка*»⁴. Теория, в которой это формулируется, связана с революцией уже не более или менее случайным образом, чрезвычайно запутанными и превратными отношениями. Нет, по своей сути она есть не что иное, как мыслительное выражение самого революционного процесса. Каждая стадия этого процесса фиксируется теорией в своей всеобщности и преемственности, в своем практическом значении и поступательном развитии. Будучи не чем иным, как фиксацией и осознанием необходимого шага, она становится одновременно необходимой предпосылкой предстоящего, ближайшего шага.

Уяснение этой функции теории вместе с тем высвобождает путь к познанию ее теоретической сущности: метода диалектики. Игнорирование этого абсолютно решающего пункта внесло много путаницы и в дискуссии о диалектическом методе. Ибо независимо от того, критикуются ли основополагающие для дальнейшего развития теории рассуждения Энгельса в «Анти-Дюринге» или же рассматриваются как неполные, наверное, даже недостаточные либо, напротив того, как классические, – в любом случае следует признать, что в них отсутствует именно этот момент. Дело в том, что Энгельс описывает образование понятий, присущее диалектическому методу, противопоставляя его «метафизическому»; он с большей определенностью подчеркивает, что диалектика устраняет косность понятий (и соответствующих им предметов); что диалектика является постоянным процессом пристечения одного определения из другого, беспрестанным снятием противоположностей, их взаимопереходом; что вследствие этого надо отделять одностороннюю и неподвижную каузальность от взаимодействия. Однако самое существенное взаимодействие: *диалектическое отношение субъекта и объекта в историческом процессе*, – он даже не упоминает, не говоря уж о том, чтобы поставить его на подобающее центральное место в методологии. Однако без этого определения диалектический метод – даже несмотря на то, что сохраняются, правда, в конечном счете, все-таки лишь иллюзорно, «текущие» понятия и т.д., – перестает быть революционным методом.

Отличие диалектики от «метафизики» видится тогда уже не в том, что при всяком «метафизическом» подходе объект, предмет рассмотрения должен оставаться неприкосновенным, неизменным, а поэтому само рассмотрение остает-

Что такое ортодоксальный марксизм?

ся чисто *созерцательным* и не становится практическим, в то время как для диалектического метода центральной проблемой является *изменение действительности*. Коль скоро не учитывается эта центральная функция теории, то сугубо проблематическим становится преимущество, связанное с «текучестью» понятий: это – чисто «научное» дело. В зависимости от достигнутого наукой уровня метод можно применять или отвергать без того, чтобы что-то мало-мальски изменилось в центральной установке по отношению к действительности, в понимании ее в качестве изменяемой или неизменной. Более того, непостижимость действительности, ее фаталистически неизменный характер, ее «закономерность» в смысле буржуазного, созерцательного материализма и внутренне связанной с ним классической политической экономии могут при этом даже еще усилиться, как это произошло у так называемых махистов из числа последователей Маркса. То обстоятельство, что махизм тоже может породить волонтаризм, настолько же буржуазный, как и он сам, отнюдь не противоречит данной констатации. Фатализм и волонтаризм лишь при недиалектическом, неисторическом способе рассмотрения выступает как взаимоисключающие противоположности. Для диалектического рассмотрения истории они являются необходимо связанными друг с другом полюсами, мыслительными отражениями, в которых ясно обнаруживается антагонизм капиталистического общественного строя, неразрешимость его проблем на его собственной почве. Поэтому любая попытка «критически» углубить диалектический метод неизбежно ведет к его опoшлению. Ибо методологическим исходным пунктом всякой «критической» позиции как раз и является отделение метода от действительности, мышления от бытия. В соответствии с «критицизмом», именно такое отделение следует рассматривать как успех, который надо, руководствуясь духом подлинной научности, поставить ей в заслугу, в сравнении с грубым некритическим материализмом, присущим методу Маркса. Разумеется, сторонники «критической» позиции вольны так поступать. Но следует отметить, что они идут не по тому пути, который предусматривается глубочайшей сутью Марксова метода. Маркс и Энгельс высказывались на сей счет достаточно недвусмысленно. «Диалектика, – заявляет Энгельс, – сводилась этим к науке об общих законах как внешнего мира, так и человеческого мышления: два ряда законов, которые *по сути дела тождественны*»⁵. Та же самая мысль выражена у Маркса намного более точно: «Как вообще *во всякой исторической, социальной науке*, при рассмотрении поступательного движения экономических категорий <...> *категории выражают <...> формы наличного бытия, условия существования <...>*»⁶. Коль скоро затуманивается этот смысл диалектического метода, сам он неизбежно должен показаться излишним приложением, простым орнаментальным украшением марксистской «социологии» или «политической экономии». Более того, он представляется чуть ли не препятствием для «трезвого», «непредвзятого» исследования «фактов», пустой конструкцией, ради которой марксизм насилует факты. Бернштейн, отчасти благодаря своей совершенно не обремененной философскими познаниями «непредвзятости», яс-

История и классовое сознание

нее всего высказал этот аргумент против диалектического метода и четче всего его сформулировал. Однако те реальные, политические и экономические, выводы, которые он делает из этой своей позиции, освобождая метод от «диалектических путей» гегельянства, отчетливо показывает, куда ведет эта дорога. Они показывают, что раз возникает надобность в обосновании последовательной теории оппортунизма, свободного от революции «развития», безмятежного «врастания» в социализм, то именно диалектику следует удалить из метода исторического материализма.

2.

Но тут тотчас же возникает неизбежный вопрос: а что методологически должны означать эти так называемые факты, которым поклоняется вся ревизионистская литература? В какой мере их можно рассматривать как фактор, направляющий деятельность революционного пролетариата? Само собой разумеется, что всякое познание действительности исходит из фактов. Вопрос лишь в том, какая данность жизни и в какой методологической взаимосвязи заслуживает того, чтобы приниматься в расчет в качестве значимого для познания факта. Ограниченный эмпиризм, конечно, оспаривает, что факты вообще впервые становятся фактами лишь после такой методологической обработки, которая проводится по-разному в зависимости от цели познания. Он верит, что сможет найти в каждой данности, в каждом статистическом показателе, в каждом *factum brutum* экономической жизни важный для него факт. При этом он не учитывает, что самое простое перечисление, простейшее нанизывание «фактов» без всяких комментариев уже является «интерпретацией»: даже в этом случае факты постигаются, исходя из некоторой теории, некоторого метода, они изымаются из той жизненной взаимосвязи, в которой первоначально находились, и вводятся в теоретическую взаимосвязь. Более образованные оппортунисты, несмотря на их инстинктивное и глубокое отвращение к теории, нисколько этого не оспаривают. Но они ссылаются на метод естественных наук, на тот способ, каким в этих науках посредством наблюдения, абстрагирования, эксперимента и т.д. исследуются «чистые» факты и выявляются их взаимосвязи. И они противопоставляют насильственным конструкциям диалектического метода подобный познавательный идеал.

Этот метод на первых порах кажется подкупающим вследствие того, что само капиталистическое развитие имеет тенденцию к порождению такой структуры общества, которая весьма и весьма отвечает подобным способам рассмотрения. Но чтобы не подпасть под влияние продуцируемой таким образом общественной видимости, чтобы за этой видимостью суметь-таки разглядеть сущность, нам именно уже здесь и именно потому нужен диалектический метод. Ведь «чистые» факты естественных наук появляются на свет, когда какие-то явления жизни действительно или мысленно помещаются в среду, в которой их закономерности могут быть изучены без помех со стороны других яв-

Что такое ортодоксальный марксизм?

лений. Этот процесс еще усугубляется тем, что явления сводятся к своей чисто количественной, выражаемой числами и числовыми соотношениями сущности. Вот только оппортунисты все время упускают из виду, что суть капитализма в том и заключается, чтобы продуцировать явления подобным образом. Маркс при рассмотрении труда весьма убедительно описывает подобный «процесс абстракции» в жизни, но он не забывает столь же убедительно настаивать на том, что речь идет здесь об историческом своеобразии капиталистического общества. «Таким образом, – пишет Маркс, – наиболее всеобщие абстракции возникают вообще только в условиях наиболее богатого конкретного развития, где одно и то же является общим для многих или для всех. Тогда оно перестает быть мыслимым только в особенной форме»⁷.

Эта тенденция капиталистического развития, однако, заходит еще дальше. Фетишистский характер формы хозяйства, овеществление всех человеческих отношений, постоянно растущее разделение труда, которое приводит к абстрактно-рациональному раздроблению производственного процесса и не заботится о человеческих возможностях и способностях непосредственного производителя и т.д., – преобразуют феномены общества и вместе с ними их апперцепцию. Возникают «изолированные» факты, изолированные комплексы фактов, самодовлеющие обособленные области (экономика, право, и т.д.), которые уже в своих непосредственных формах проявления кажутся в большой мере приуроченными к соответствующему научному исследованию. Вот поэтому-то особо «научным» должен считаться такой подход, при котором до конца додумывается и возводится в ранг науки эта, присущая самим фактам, тенденция. В то время как диалектика, утверждающая в противоположность всем таким изолированным и изолирующим фактам и частичным системам конкретное единство целого, разоблачающая эту видимость, как видимость, – правда, необходимо порождаемую капитализмом, – эта диалектика создает впечатление голого конструирования.

Ненаучность этого якобы столь научного метода, стало быть, состоит в том, что он игнорирует *исторический характер* базовых для себя фактов и пренебрегает таковым. Но тут кроется не только источник ошибок (который никак не учитывается при таком подходе), к чему настойчиво привлекал внимание Энгельс. Суть этого источника ошибок состоит в том, что статистика и опирающаяся на нее «строго» экономическая теория всегда запаздывают. «Поэтому при анализе текущих событий слишком часто приходится этот фактор, имеющий решающее значение, рассматривать как постоянный, принимающий экономическое положение, сложившееся к началу рассматриваемого периода, за данное и неизменное для всего периода, или же принимать в расчет лишь такие изменения этого положения, которые сами вытекают из имеющихся налицо очевидных событий, а поэтому также вполне очевидные»⁸. Уже из этого рассуждения вытекает тот факт, что отмеченная выше приуроченность структуры капиталистического общества для естественнонаучного метода, общественная предпосылка этой строгости, является чем-то весьма проблемати-

История и классовое сознание

ческим. А именно, коль скоро внутренняя структура «актов» и структура их взаимосвязи по сути своей является исторической, это значит, находящийся в процессе непрерывного изменения, остается открытым вопрос, когда допускается большая научная неточность: то ли тогда, когда я постигаю «акты» в присутствующей им известной форме предметности и подчиненности известным законам, причем я должен полагать методологически достоверным (или, по крайней мере, вероятным), что эти законы уже больше не распространяются на эти факты? Или же тогда, когда я осознаю данное положение вещей и делаю из него выводы, заведомо критически рассматриваю достигаемую подобным способом «строгость» и концентрирую свое внимание на тех моментах, в которых действительно находят выражение такая историческая сущность, такое решающее изменение?

Исторический характер упомянутых «фактов», которые наука якобы постигает в их «чистоте», однако, заявляет о себе еще более роковым образом. А именно, будучи продуктами исторического развития, они не только находятся в постоянном изменении, но *являются – и как раз по структуре их предметности – продуктами определенной исторической эпохи: капитализма*. Вот почему «наука» которая признает способ непосредственной данности фактов основой научно значимой эмпирии, а их форму предметности – исходным пунктом образования научных понятий, однозначно и догматически становится на почву капиталистического общества, некритически воспринимает его сущность, его предметную структуру, его закономерности, рассматривая их как неизменный фундамент «науки».

Чтобы от подобных «фактов» суметь продвинуться к фактам в подлинном смысле слова, надо высветить, как таковую, их историческую обусловленность; надо отказаться от точки зрения, при которой они получают непосредственно, непосредственно; надо подвергнуть сами эти факты историческо-диалектическому рассмотрению. Ибо, как говорит Маркс, «сложившийся уже вид экономических отношений, который выступает на поверхности, в их реальном существовании, а, следовательно, и в тех представлениях, при помощи которых пытаются уяснить себе эти отношения их носители и агенты, весьма сильно отличается от внутреннего, существенного, но скрытого основного содержания, и на деле искажает его и противоречит как ему самому, так и соответствующему ему понятию»⁹. Таким образом, если требуется правильно понять факты, то следует прежде ясно и точно понять это различие между их реальным существованием и их основным содержанием, между сложившимися о них представлениями и их понятиями. Это разграничение представляет собой первую предпосылку действительно научного рассмотрения, которое, по словам Маркса, было бы излишним, если бы «форма проявления и сущность вещей непосредственно совпадали»¹⁰. Дело, поэтому, состоит в том, чтобы, с одной стороны, отделить явления от этой непосредственной формы данности, найти опосредствования, с помощью которых они могут быть соотнесены со своей сердцевиной, своей сущностью, и понять в этой сущности; а с другой стороны, –

Что такое ортодоксальный марксизм?

суметь уразуметь этот феноменальный характер явлений, их видимость, как необходимую форму их проявления.

Данная форма необходима в силу того, что такова историческая сущность фактов, в силу того, что они вырастают на почве капиталистического общества. Это двойное определение, это одновременное признание и снятие непосредственного бытия – это как раз и есть диалектическое отношение. Внутренний мыслительный строй «Капитала» именно здесь доставляет наибольшие трудности для поверхностного читателя, некритически погрязшего в идейных формах капиталистического развития. Ибо, с одной стороны, при рассмотрении всех экономических форм в «Капитале» до высшего предела доводится их капиталистический характер, создается мыслительная среда, в которой они выступают совершенно беспримесными: общество описывается как «соответствующее теории», то есть как целиком и полностью капиталистическое, состоящее лишь из капиталистов и пролетариев. С другой стороны, как только этот способ рассмотрения начинает давать какой-то результат, как только этот феноменальный мир сгущается в теорию, тотчас же полученный таким образом результат упраздняется, как простая видимость, как превратное отражение превратных отношений, которые суть лишь «осознанное выражение мнимого движения».

Лишь в этой взаимосвязи, где отдельные факты общественной жизни включаются в тотальность в качестве моментов исторического развития, перед познанием фактов появляется возможность стать познанием действительности. Такое познание исходит из охарактеризованных выше, простых, чистых (в капиталистическом мире), непосредственных естественных определений, чтобы от них перейти к познанию конкретной тотальности как мыслительного воспроизведения действительности. Эта конкретная тотальность отнюдь не дана мышлению непосредственно.

«Конкретное потому конкретно, – указывает Маркс, – что оно есть синтез многих определений, следовательно, единство многообразного». Идеализм впадает здесь в иллюзию, путая этот процесс мыслительного воспроизведения действительности с процессом построения самой действительности. Ибо в мышлении конкретное «выступает как процесс синтеза, как результат, а не как исходный пункт, хотя оно представляет собой действительный исходный пункт и вследствие этого также исходный пункт созерцания и представления»¹¹. Напротив, вульгарный материализм, – в какие бы современные одеяния его ни облачали Бернштейн и другие, – останавливается на воспроизведении непосредственных, простых определений общественной жизни. Ему видится совершенно особенная «строгость» в том, что он просто-напросто воспринимает эти определения без всякого последующего анализа, без их синтеза в конкретную тотальность, что он оставляет эти определения в их абстрактной изолированности и объясняет их лишь абстрактными, не соотнесенными с конкретной тотальностью закономерностями. «Грубость и поверхностность взглядов в том и заключается, что явления, органически между собой связанные, становятся в случайные взаимоотношения и в чисто рассудочную [в оригинале «рефлексив-

История и классовое сознание

ную» – in einen blossen Reflexionszu-sammenhang – прим. пер.] связь»¹².

Грубость и поверхностность таких рефлексивных взаимосвязей состоит, прежде всего, в том, что ими затушевывается исторически преходящий характер капиталистического общества, а эти определения выступают как вневременные, вечные, присущие всем общественным формам категории. Ярче всего это проявилось в буржуазной вульгарной политэкономии, но и вульгарный марксизм вскоре пошел по той же дорожке. Как только были подорваны диалектический метод и вместе с ним методологическое господство тотальности над отдельными моментами, как только целое перестало быть понятием и истиной частей, как только, вразрез с этим, целое стали исключать из рассмотрения, как что-то ненаучное, или низводить до простой «идеи», либо «суммы» частей, рефлексивная взаимосвязь изолированных частей должна была предстать вневременным законом всякого человеческого общества. Ибо положение Маркса о том, что в каждом обществе производственные отношения образуют некоторое единое целое¹³, является методологическим исходным пунктом и ключом как раз к историческому познанию общественных отношений. А именно, каждую изолированную, частичную категорию можно – при условии такой ее изолированности – мыслить и рассматривать как присущую общественному развитию в целом (если ее невозможно отыскать в каком-то обществе, то это есть то самое «исключение», которое подтверждает правило).

3.

Данная диалектическая концепция тотальности, которая якобы так далеко отстает от непосредственной действительности, которая якобы так «ненаучно» ее конструирует, на самом деле является единственным методом мыслительного воспроизведения и постижения действительности. Конкретная тотальность, стало быть, является подлинной категорией действительности¹⁴. Правильность этого взгляда обнаруживается, прежде всего, тогда, когда мы ставим в центр нашего внимания реальный материальный субстрат нашего метода, капиталистическое общество со свойственным ему антагонизмом производительных сил и производственных отношений. Метод естественных наук, этот методологический идеал всякой рефлексивной науки и всякого ревизионизма, не признает никаких противоречий, никаких антагонизмов в своем материале. Если, тем не менее, возникает какое-то противоречие между отдельными теориями, то это является для их сторонников лишь признаком незавершенности достигнутого доселе познания. Разногласия между теориями, которые оказываются противоречащими друг другу, обнаруживают ограниченность этих теорий; их, соответственно, надо преобразовывать, подчинять более общим теориям, в которых-де противоречия затем окончательно исчезнут. Но что касается общественной действительности, здесь эти противоречия не являются признаком еще незавершенного познания действительности, наоборот, они *выступают как нечто неотъемлемое от сущности самой действительности*,

Что такое ортодоксальный марксизм?

от сущности капиталистического общества. Когда целое познано, противоречия снимаются, но *не перестают* быть противоречиями. Напротив, они достигаются как необходимые противоречия, как антагонистическое основание данного способа производства. Когда теория, будучи познанием тотальности, указывает путь к преодолению этих противоречий и их снятию, то это удается ей постольку, поскольку она выявляет те *реальные тенденции* процесса общественного развития, которые призваны *реально* снять эти противоречия в общественной действительности, в ходе общественного развития.

Противоборство между диалектическим и «критическим» (или вульгарно-материалистическим, махистским и т.д.) методом с этой точки зрения само по себе является общественной проблемой. Познавательный идеал естественных наук, когда он применяется к природе, служит единственно лишь прогрессу науки, но он является средством идеологической борьбы буржуазии, когда распространяется на общественное развитие. Для буржуазии жизненно важно, с одной стороны, рассматривать свой собственный строй производства, как если бы он был сформирован категориями, имеющими вневременное значение, то есть как если бы он определялся вечными законами природы и разума к вечному существованию, а с другой стороны, – важно истолковывать неуклонно обостряющиеся противоречия не как неотъемлемые от сущности этого строя производства, а всего лишь как поверхностные явления и т.д.

Метод классической политической экономии возникает из этой идеологической потребности; его ограниченность как научного метода обусловлена данной структурой общественной действительности, антагонистическим характером капиталистического производства. Когда мыслитель ранга Рикардо, к примеру, отрицает, что «вместе с расширением производства и возрастанием капитала необходимо происходит и расширение рынка», то он идет на это (конечно, не отдавая себе в этом отчета) для того, чтобы не признать необходимость кризисов, в которых наиболее ярко проявляется антагонизм капиталистического производства. Проявляется тот факт, что «буржуазный способ производства включает в себя границу для свободного развития производительных сил»¹⁵. Что Рикардо еще делает с чистой совестью, то у вульгарной политической экономии, конечно, становится сознательно-лживой апологетикой буржуазного общества. Когда вульгарный марксизм стремится либо последовательно изъять диалектический метод из пролетарской науки, либо, по крайней мере, его «критически» усовершенствовать, он приходит – сознательно или бессознательно – к тем же самым результатам. Наверное, самый гротескный пример тому – Макс Адлер. Диалектику как метод, как движение мышления он стремится критически отделить от диалектики как метафизики. Кульминацией адлеровской «критики», ее итогом является резкое отмежевание от двух этих диалектических концепций [другой] диалектики, понимаемой как «часть позитивной науки», которая якобы «преимущественно и имеется в виду, когда марксисты ведут речь о реальной диалектике». Такую диалектику, по Адлеру, точнее было бы называть «антагонизмом»; она лишь «констатирует наличие противоположно-

История и классовое сознание

сти между личным интересом индивида и социальными формами, в которые он втянут»¹⁶. Тем самым, во-первых, выхолащивается объективный экономический антагонизм, выражающийся в *классовой борьбе*; он превращается в конфликт между *индивидом и обществом*, исходя из которого невозможно понять ни необходимости, с какой последнее сталкивается с известными проблемами, ни необходимости, с какой оно движется к своей гибели; в конечном счете, эта позиция – вольно или невольно – приводит к кантовской философии истории. Во-вторых, наряду с этим, структура буржуазного общества выдается здесь за всеобщую форму социальности как таковой. Ибо выделенная Максом Адлером центральная проблема реальной «диалектики, или лучше сказать, антагонизма», – это не что иное, как одна из типичных форм идеологического выражения антагонистического характера капиталистического строя. Дело не изменяется от того, увековечивается ли капитализм, исходя из экономического базиса или же исходя из идеологических образований, совершается это наивно-беззаботно или критически-утонченно.

Стало быть, когда диалектический метод отбрасывается или смазывается, то вместе с ним одновременно утрачивается и познаваемость истории. Не надо понимать это так, будто без диалектического метода невозможно более или менее точно описать отдельные исторические личности, эпохи и т.д. Напротив, речь идет о том, что при подобном подходе становится невозможно понять историю как единый процесс. (Эта невозможность выказывает себя в буржуазной науке, с одной стороны, в форме абстрактных социологических конструкций истории типа кантовско-спенсеровских, внутренние противоречия которых убедительно выяснены современной буржуазной теорией истории, пронизательнее всего – Риккертом; с другой стороны, – в форме требования создать «философию истории», отношение которой к исторической действительности опять-таки выступает как методологически неразрешимая проблема). Противоположность между описанием одной части истории и описанием истории как единого процесса, однако, не является различием в объеме описания, например, между специальной и универсальной историей, а представляет собой методологическую противоположность, противоположность точек зрения. Вопрос о целостном постижении исторического процесса неизбежно всплывает при рассмотрении любой эпохи, любой частной области и т.д. Вот здесь и обнаруживается решающее значение диалектического рассмотрения тотальности. Ведь вполне возможно, что кто-то, в сущности, совершенно верно познает и описывает историческое событие, не будучи способным понять, чем это событие является на самом деле, какова его действительная историческая функция в историческом целом, к которому оно принадлежит; то есть понять данное событие в рамках единого исторического процесса. Чрезвычайно характерный пример тому – позиция Сисмонди по вопросу о кризисах. Он, в конечном счете, не справился с этим вопросом, хотя сумел правильно распознать тенденции, присущие как производству, так и распределению. Несмотря на свою весьма пронизательную критику капитализма, Сисмонди остался в плену ка-

Что такое ортодоксальный марксизм?

питалистических форм предметности, был вынужден рассматривать производство и распределение как независимые друг от друга динамические комплексы, «не понимая, что отношения распределения есть лишь отношения производства *sub alia specie*»¹⁷. Ему, таким образом, была суждена та же участь, что и Прудону с его ложной диалектикой: он «превращает различные звенья общества в соответственное число отдельных обществ»¹⁸.

Итак, категория тотальности, повторим, отнюдь не упраздняет свои моменты, не доводит их до лишнего различий единства, до тождества. Лишь в той мере, в какой эти моменты вступают в диалектически-динамические отношения между собой, постигаются в качестве диалектически-динамических моментов целого, которое столь же диалектически динамично, – лишь в этой мере форма проявления их самостоятельности, той самозаконности, какая им свойственна при капитализме, раскрывается как чистая видимость. «Результат, к которому мы пришли, заключается не в том, что производство, распределение, обмен и потребление идентичны, а в том, что все они образуют собой части единого целого, различия внутри единства <...> Определенное производство обуславливает, таким образом, определенное потребление, определенное распределение, определенный обмен и *определенные отношения этих различных моментов друг к другу* <...> Между различными моментами имеет место взаимодействие. Это свойственно всякому органическому целому»¹⁹.

Однако и на категории взаимодействия тоже нельзя останавливаться. Коль скоро взаимодействие понимается как простое каузальное взаимное воздействие двух, в прочих отношениях неизменных, предметов, то мы не делаем ни шага вперед в познании общественной действительности по сравнению с вульгарным материализмом с его однолинейными каузальными рядами (или по сравнению с махизмом с его функциональными отношениями и т.д.). Ведь взаимодействие происходит и тогда, когда, например, в покоящийся бильярдный шар ударяется движущийся: первый начинает двигаться, а второй вследствие толчка отклоняется от первоначального направления своего движения. Взаимодействие [в его диалектической интерпретации], которое здесь имеется в виду, должно выходить за рамки взаимовлияния *неизменных в прочих отношениях объектов*. И его выводит за эти рамки именно отношение к целому: отношение к целому становится определением, которое дефинирует *форму предметности* всякого объекта познания; всякое существенное и значимое для познания изменение выражается как изменение отношения к целому и тем самым – как изменение самой формы предметности²⁰. Маркс множество раз ясно высказывал эту мысль в своих произведениях. Прочитирую лишь одну из известнейших формулировок: «Негр есть негр. Только при определенных отношениях он становится *рабом*. Хлопкопрядильная машина есть машина для прядения хлопка. Только при определенных отношениях она становится капиталом. Будучи вырванной из этих отношений, она так же не является *капиталом*, как *золото* само по себе не является деньгами, или сахар – ценой сахара»²¹. Это непрерывное изменение форм предметности всех общественных феноменов в их

История и классовое сознание

непрерывном диалектическом взаимодействии друг с другом, эта обусловленность познаваемости предмета его функций в *определенной* тотальности, в которой он пребывает, делает диалектическую концепцию тотальности – и только ее! – способной к постижению *действительности как общественного процесса*. Ибо лишь в этом пункте фетишистские формы предметности, которые необходимо продуцируются капиталистическим производством, разрешаются, претворяясь в видимость, пусть даже познанную в своей необходимости, но все-таки видимость. Их рефлексивные взаимосвязи, их «закономерности», которые хотя и неизбежно возникают на этой почве, но ведут к сокрытию действительных взаимосвязей предметов, оказываются необходимыми представлениями агентов капиталистического производственного строя. Они, стало быть, являются предметами познания, но предмет, который познается в них и через их посредство, – это не сам капиталистический производственный строй, а идеология господствующего при нем класса.

Историческое познание становится возможным только тогда, когда эта оболочка прорывается. Ибо функция рефлексивных определений фетишистских форм предметности состоит как раз в превращении феноменов капиталистического общества в сверхисторические сущности. Познание действительной предметности феномена, познание его исторического характера и познание его действительной функции в общественном целом составляют, следовательно, единый неделимый акт познания. Это единство разлагается псевдонаучным способом рассмотрения. Так, например, познание фундаментального для политической экономики различия между постоянным и переменным капиталом стало возможным лишь благодаря диалектическому методу; классическая политэкономия оказалась неспособной выйти за рамки различения между постоянным и оборотным капиталом. И отнюдь не случайно. Ибо «переменный капитал есть лишь особая историческая форма проявления фонда жизненных средств, или рабочего фонда, который необходим работнику для поддержания и воспроизводства его жизни и который при всех системах общественного производства он сам постоянно должен производить и воспроизводить. Рабочий фонд постоянно притекает к рабочему в форме средств платежа за его труд лишь потому, что собственный продукт рабочего постоянно удаляется от него в форме капитала...», «товарная форма продукта и денежная форма товара маскируют истинный характер этого процесса»²². Эта функция сокрытия действительности, присущая фетишистской видимости, которая окутывает все феномены капиталистического общества, отнюдь не сводится лишь к сокрытию его исторического, то есть изменчивого, преходящего характера. Или, лучше сказать, такое сокрытие становится возможным лишь благодаря тому, что все формы предметности, в которых перед человеком в капиталистическом обществе непосредственно предстает – неизбежно – окружающий его мир, прежде всего экономические категории, – все эти формы также скрывают то, что они являются формами предметности, категориями, выражающими межчеловеческие отношения. Такое сокрытие становится возможным лишь благодаря

Что такое ортодоксальный марксизм?

тому, что межчеловеческие отношения проявляются как вещи и отношения между вещами. Поэтому диалектический метод, разрывая окутывающий категории покров вечности, должен одновременно разорвать и покров вещиности, дабы освободить дорогу к познанию действительности. «Политическая экономия, – говорит Энгельс в своей рецензии на работу Маркса «К критике политической экономии», – имеет дело не с вещами, а с отношениями между людьми и, в конечном счете, между классами, но эти отношения всегда *связаны с вещами и проявляются как вещи*»²³. Лишь при осознании этого концепция тотальности, характерная для диалектического метода, выступает как познание общественной действительности. Диалектическая соотнесенность частей с целым еще могла бы представиться чисто методологическим определением мышления, которое настолько же свободно от категорий, действительно конституирующей общественной действительность, насколько свободны от них рефлексивные определения буржуазной политэкономии; в этом случае превосходство первого подхода над вторым было бы лишь сугубо методологическим. Различие между ними, однако, глубже и принципиальней. Посредством каждой экономической категории обнаруживается, осознается и понятийно фиксируется определенное отношение между людьми на определенной ступени их общественного развития. Благодаря этому впервые становится возможным познать движение самого человеческого общества в его внутренней закономерности, познать как продукт деятельности самих людей и одновременно – тех сил, которые порождаются их отношениями, но ускользают от их контроля. Экономические категории становятся, следовательно, диалектически-динамическими в двойном смысле этого слова. Они находятся в живом взаимодействии между собой как «чисто» экономические категории и способствуют познанию, позволяя обозреть тот или иной хронологический отрезок общественного развития. Но в силу того, что категории проистекают из человеческих отношений и функционируют в процессе преобразования этих отношений, взаимосвязь категорий с реальным субстратом их действительности высвечивает сам ход развития. Это значит, что производство и воспроизводство определенной экономической тотальности, познание которой составляет задачу науки, необходимо превращается, – впрочем, трансцендируя «чистую» политэкономия, но без всякого обращения к каким-то трансцендентным силам, – в процесс производства и воспроизводства определенного целостного общества. Эту характерную особенность диалектического познания Маркс зачастую подчеркивал ясно и отчетливо. Например, в «Капитале» он указывает: «Следовательно, капиталистический процесс производства, рассматриваемый в общей связи, или как процесс воспроизводства, производит не только товары, не только прибавочную стоимость, он производит и воспроизводит само капиталистическое отношение, – капиталиста на одной стороне, наемного рабочего – на другой»²⁴.

История и классовое сознание

4.

Такое самополагание, самопроизводство и воспроизводство как раз и представляет собой действительность. Это ясно понял уже Гегель, выразив свое понимание в форме, весьма близкой Марксу, пусть даже еще чересчур абстрактной, непонимающей себя самое и поэтому создающей возможность недоразумений. «То, что действительно, необходимо внутри себя», – говорит Гегель в своей «Философии права». «Необходимость состоит в том, что целое разделено на различия понятия, и что это разделенное представляет собой прочную и сохраняющуюся определенность, которая не мертвенно прочна, а постоянно порождает себя в распаде»²⁵. Здесь ясно обнаруживается глубокое родство между историческим материализмом и гегелевской философией в трактовке проблемы действительности, функций теории, понимаемой как *самопознание действительности*; но именно здесь надо сразу же – хотя бы лишь в нескольких словах – указать на не менее решающий пункт их расхождений. Таковым является опять-таки проблема действительности, проблема единства исторического процесса. Маркс упрекает Гегеля (но в еще большей мере – его последователей, которые все больше скатывались на позиции Фихте и Канта), что, в сущности, он не преодолел дуализма мышления и бытия, теории и практики, субъекта и объекта; что его диалектика – в качестве внутренней, реальной диалектики исторического процесса – это простая видимость; что как раз в пункте, имеющем решающее значение, он не пошел дальше Канта; что познание для Гегеля – это познание, относящееся к материалу, который сам по себе сущностно ему чужд, а не самопознание этого материала – то есть человеческого общества. Решающие тезисы этой критики таковы: «Уже у Гегеля *абсолютный дух* истории обладает в *массе* нужным ему материалом, соответственное же выражение он находит себе лишь в *философии*. *Философ* является, однако, лишь тем органом, в котором творящий историю абсолютный дух по завершении движения *ретроспективно* приходит к сознанию самого себя. Этим ретроспективным сознанием ограничивается его участие в истории, ибо действительное движение совершается абсолютным духом бессознательно. Таким образом, философ приходит *post festum*». Гегель только по видимости делает творцом истории абсолютный дух в качестве абсолютного духа. Так как «абсолютный дух лишь *post festum*, в философе, приходит к сознанию себя как творческого мирового духа, то его фабрикация истории существует лишь в сознании, в мнении, в представлении философа, лишь в спекулятивном воображении»²⁶. Эта гегелевская понятийная мифология окончательно опровергнута критической деятельностью молодого Маркса. Не случайно, однако, и то, что философия, в отношении которой Маркс стремился «прийти к согласию с самим собой», уже была попятным движением гегельянства, направленным к Канту. Движением, которое неясности и внутренние колебания самого Гегеля использовало для того, чтобы вытравить из метода революционные элементы, чтобы обеспечить созвучность реакционного содержания, реакционной поня-

Что такое ортодоксальный марксизм?

тийной мифологии, остатков созерцательного раздвоения мышления и бытия с гомогенно реакционной теорией, господствовавшей в тогдашней Германии. Восприняв прогрессивную часть гегелевского метода, диалектику, понятую как познание действительности, Маркс не только решительно порвал с преемниками Гегеля, но одновременно расколол надвое саму философию Гегеля. Историческую тенденцию, присущую гегелевской философии, Маркс предельно усугубил и провел с чрезвычайной последовательностью: с присущим ему радикализмом он превратил в исторические проблемы все общественные феномены и проявления социализированного человека, конкретно указав реальный субстрат исторического развития и раскрыв его методологическую плодотворность. С этим критерием, который был найден самим Марксом и выдвинут в качестве методологического требования, и была соизмерена гегелевская философия, признанная слишком легкой. Мифологические остатки «вечных ценностей», которые устранял из диалектики Маркс, по сути дела, обретаются в области рефлексивной философии, против которой Гегель всю свою жизнь боролся яростно и жестко, каковой он и противопоставил весь свой философский метод, процесс и конкретную тотальность, диалектику и историю. Марксова критика Гегеля, стало быть, является прямым продолжением и развитием той критики, которой сам Гегель подверг Канта и Фихте²⁷. Таким образом, диалектический метод, с одной стороны, возникает как последовательное развитие того, к чему стремился сам Гегель, но чего он конкретно не достиг. С другой стороны, мертвое тело писанной системы стало добычей филологов и фабрикантов систем.

Пункт расхождений – это действительность. Гегель не в состоянии был добраться до действительных движущих сил истории. Отчасти из-за того, что ко времени возникновения его системы эти силы не выявились с всею ясностью и очевидностью. Вот почему Гегель вынужден был рассматривать в качестве подлинных носителей исторического развития народы и их сознание (реальный субстрат последнего с его разнородными составляющими остался для Гегеля неразгаданным и принял у него мифологическую форму «духа народа»). Отчасти же несостоятельность Гегеля объяснялась тем, что, несмотря на свои весьма энергичные устремления в противоположном направлении, он остался в плену платоновско-кантовского образа мысли, дуализма мышления и бытия, формы и материи. И хотя он является подлинным первооткрывателем значения конкретной тотальности, хотя его мышление всегда сориентировано на преодоление всякой абстрактности, тем не менее, материя для него, чисто по-платоновски, запятнана «позором определенности». И эти тенденции, сталкивающиеся и противоборствующие между собой, оказалось невозможным интеллектуально прояснить в рамках его системы. Они зачастую выступают неопосредствованными, противоречащими и не согласующимися друг с другом; и то окончательное (мнимое) согласие, к которому они приходили в самой системе, относилось, поэтому, скорее к прошлому, чем к будущему²⁸. Неудивительно, что буржуазная наука уже на самых первых порах стала подчеркивать и развивать, как существенные, именно эти стороны философии Гегеля. Но как раз из-за

История и классовое сознание

этого осталась почти совершенно нераскрытой, даже для марксистов, революционная сердцевина его мышления.

Мифология понятий – это всегда лишь мыслительное выражение того, что для людей остались непостижимыми фундаментальные факты их существования, от последствий которых они не в силах защищаться. Неспособность проникнуть в сам предмет выражается в мысли в виде трансцендентных движущих сил, которые мифологическим образом выстраивают и формируют действительность, отношения между предметами, наше отношение к ним, их изменение в историческом процессе. Когда Маркс и Энгельс истолковали «производство и воспроизводство действительной жизни» как, в конечном счете, «определяющий момент» в историческом процессе²⁹, они впервые обрели возможность и позицию, позволяющие покончить со всякой мифологией. Гегелевский абстрактный дух был последним из этих величественных мифологических форм, той формой, в которой находило выражение уже само целое и его движение, пусть даже не осознающее своей действительной сущности. Коль скоро в историческом материализме приобретает свою «разумную» форму тот разум, который «существовал всегда, только не всегда в разумной форме»³⁰, то это значит, что находит свое осуществление программа философии истории Гегеля, пусть даже путем уничтожения его учения. Как подчеркивает Гегель, в противоположность природе, в которой изменение является круговоротом, повторением одного и того же, в истории изменение не только скользит по поверхности, но захватывает понятие. Само понятие и есть то, что себя упорядочивает³¹.

5.

Исходный пункт диалектического материализма, положение о том, что не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание, – лишь в такой взаимосвязи утрачивает свой сугубо теоретический характер, становится практическим вопросом. И только тогда, когда бытие в самой своей сердцевине раскрывается как общественный процесс, бытие может проявить себя в качестве (конечно, доселе не осознававшегося) продукта человеческой деятельности, а эта деятельность, в свою очередь, – предстать как решающий элемент изменения бытия. С одной стороны, чисто природные отношения или общественные формы, которые в результате мистификации выглядят как природные отношения, противостоят человеку как косные, окончательно сложившиеся, по сути своей неизменные данности; человек способен в лучшем случае использовать для себя законы, которым они подчиняются, в лучшем случае постичь их предметную структуру, но никак не изменить их. С другой стороны, при таком понимании бытия возможность практики приурочивается к индивидуальному сознанию. Практика становится формой деятельности обособленного индивида: она становится этикой. Попытки Фейербаха преодолеть Гегеля потерпели крах именно в этом пункте: он, в той же мере, что и немецкий идеализм, и в намного большей, чем Гегель, остано-

Что такое ортодоксальный марксизм?

вился на обособленном индивиде «гражданского общества». Требование Маркса понять «чувственность», предмет, действительность как человеческую чувственную деятельность³² означает осознание человеком самого себя в качестве общественного существа, осознание человеком самого себя одновременно и в качестве субъекта, и в качестве объекта общественно-исторического процесса. В феодальном обществе человек не в состоянии был осознать себя в качестве общественного существа, поскольку сами его общественные отношения носили еще во многом естественный характер, поскольку общество в целом все еще недостаточно было пронизано единой организацией, все еще недостаточно обнимало собой отношения человека к человеку в их единстве, чтобы предстать в сознании как *подлинная* действительность человека. (Сюда не относится вопрос о структуре и единстве феодального общества). Буржуазное общество совершает этот процесс обобществления общества. Капитализм ниспровергает все границы между отдельными странами и областями, будь то пространственно-временные барьеры или правовые перегородки сословности. В капиталистическом мире формального равенства всех людей все больше исчезают те экономические отношения, которые непосредственно регулировали обмен веществ между человеком и природой. Человек становится в истинном смысле этого слова общественным существом. Общество – *подлинной* действительностью для человека.

Таким образом, познание общества как действительности возможно лишь на почве капитализма, буржуазного общества. Однако класс, который выступает как исторический носитель этого переворота, буржуазия, совершает эту свою функцию еще бессознательно; общественные силы, которые она развязала, те самые силы, которые со своей стороны помогли буржуазии установить свое господство, противостоят ей как вторая природа, но как природа более бездушная, более непроницаемая, чем природа, которую знал феодализм³³. И только тогда, когда появляется пролетариат, познание общественной действительности приобретает завершенность. Это достигается благодаря тому, что классовая точка зрения пролетариата и есть тот наконец-то найденный пункт, откуда становится обозримым общество в целом. Исторический материализм сложился одновременно и как учение «об условиях освобождения пролетариата», и как учение о действительности, в качестве которой выступает совокупный процесс общественного развития; это стало возможным лишь потому, что познать это классовое положение можно лишь путем познания всего общества; лишь потому, что такое познание составляет неотъемлемую предпосылку деятельности пролетариата. Стало быть, единство теории и практики – это лишь другая сторона общественно-исторической ситуации пролетариата, в соответствии с которой для пролетариата точки зрения самопознания совпадает с познанием тотальности, а пролетариат одновременно выступает как субъект и объект собственного познания.

Ибо миссия проводника человечества к более высокой ступени его развития, как правильно подметил Гегель (впрочем, все еще применительно к наро-

История и классовое сознание

дам), основана на том, что эти «ступени развития наличны как непосредственные природные начала», и что тому народу (стало быть, тому классу), который обладает подобным моментом как природными началом, поручено и его исполнение³⁴. Данную идею Маркс с полной ясностью конкретизировал применительно к общественному развитию: «Если социалистические писатели признают за пролетариатом эту всемирно-историческую роль, то это никоим образом не происходит оттого, что они <...> считают пролетариев *богами*. Скорее наоборот. Так как в оформившемся пролетариате практически закончено отвлечение от всего человеческого, даже от *видимости* человеческого, так как в жизненных условиях пролетариата все жизненные условия современного общества достигли высшей точки бесчеловечности; так как в пролетариате человек потерял самого себя, однако вместе с тем не только обрел теоретическое сознание этой потери, но и непосредственно вынужден к возмущению против этой бесчеловечности велением неотвратимой, не поддающейся уже никакому приукрашиванию, абсолютно властной *нужды*, этого практического выражения необходимости, – то ввиду всего этого пролетариат может и должен сам себя освободить. Но он не может освободить себя, не уничтожив своих собственных жизненных условий. Он не может уничтожить своих собственных жизненных условий, не уничтожив *всех* бесчеловечных жизненных условий современного общества, сконцентрированных в его собственном положении»³⁵. Таким образом, методологическая сущность исторического материализма неотделима от «практически-критической деятельности» пролетариата: и то, и другое – моменты одного и того же процесса развития общества. Но, стало быть, познание действительности, достигаемое с помощью диалектического метода, тоже неотделимо от классовой точки зрения пролетариата. Методологическое разграничение между марксизмом как «чистой» наукой и социализмом, которое проводит «австромарксизм», – это мнимая проблема, равно как и все вопросы, которые ставятся аналогичным образом³⁶. Ведь марксистский метод, материалистическая диалектика, понятая как познание действительности, произрастают лишь из классовой точки зрения пролетариата, из его позиции в борьбе. Отказ от этой точки зрения влечет за собой отход от исторического материализма, в то время как ее принятие прямоком ведет к включению в борьбу пролетариата.

Из того, что исторический материализм произрастает из «непосредственного природного» жизненного принципа пролетариата, что тотальное познание действительности проистекает из его классовой точки зрения, никоим образом не следует, будто это познание или характерная для него методологическая установка непосредственно и естественно даны пролетариату, как классу (а тем более, отдельным пролетариям). Напротив. Конечно, пролетариат является гносеологическим субъектом такого познания совокупной общественной действительности. Но он отнюдь не является гносеологическим субъектом в кантовском методологическом смысле, когда субъект определяется как то, что никогда не может стать объектом. Пролетариат не есть безучастный созерцатель этого процесса. Пролетариат – не просто деятельная и страдательная часть это-

Что такое ортодоксальный марксизм?

го целого; восхождение и развитие его познания, с одной стороны, и его собственное восхождение и развитие в ходе истории, с другой стороны, – это лишь две стороны одного и того же реального процесса. И не только потому, что сам класс начинает со спонтанных, бессознательных действий непосредственной отчаянной обороны (например, с разрушения машин, что весьма характерно именно для начальной стадии) и лишь постепенно, в постоянных общественных битвах «формирует себя как класс». Осознание общественной действительности, своего собственного классового положения и вытекающей из него исторической миссии, метод материалистической диалектики суть продукты того же самого процесса развития, который в первый раз в истории адекватно познается в своей действительности историческим материализмом.

Возможность марксистского метода – это, стало быть, такой же продукт классовой борьбы, как какой-либо политический или экономический результат. И развитие пролетариата тоже отражает внутреннюю структуру познанной им – впервые – истории человечества. «Поэтому результат этого процесса производства столь же неизменно принимает вид его предпосылок, как его предпосылки – вид его результата»³⁷. Методологическая точка зрения тотальности, в которой мы научились видеть центральную проблему, предпосылку познания действительности, является продуктом истории в двойном смысле. Во-первых, формальная объективная возможность исторического материализма как познания вообще сложилась благодаря тому экономическому развитию, которое породило пролетариат, благодаря возникновению самого пролетариата (то есть на определенной ступени общественного развития), благодаря совершившейся таким образом трансформации субъекта и объекта познания общественной действительности. Во-вторых, только в ходе развития самого пролетариата эта формальная возможность стала реальной возможностью. Ибо возможность такого постижения смысла исторического процесса, которое было бы имманентно присуще самому этому процессу, а не соотносило бы этот смысл – путем трансцендентного, мифологизирующего или этического смыслополагания – с материалом, который сам по себе чужд этому смыслу, – такая возможность предполагает высокоразвитое сознание пролетариатом своего положения, относительно высокоразвитый пролетариат, то есть длительное предварительное развитие. Это путь от утопии к познанию действительности; путь от трансцендентных целеполаганий первых великих мыслителей рабочего движения к ясности Парижской Коммуны 1871 года: рабочему классу не нужно осуществлять никаких идеалов, он должен лишь высвободить элементы нового общества, пройти путь, отделяющий класс «по отношению к капиталу» от класса «для себя».

В этой перспективе ревизионистское разграничение между движением и конечной целью представляется возвратом к примитивному уровню рабочего движения. Ибо конечная цель не является каким-то состоянием, которое ожидает пролетариат в конце движения, независимо от него, от пройденного к ней пути, где-то там, в «государстве будущего»; она не является неким состоянием, о котором поэтому вполне можно забыть в повседневной борьбе и которое в

История и классовое сознание

лучшем случае возвещается в воскресных проповедях, как нечто возвышенное по сравнению с обыденными заботами. Она не является также и «долженствованием», «идеей», которые регулятивно присовокупляются к «действительному» процессу. Напротив, конечная цель – это отношение к целому (к обществу в целом, рассматриваемому как процесс), благодаря которому каждый отдельный момент борьбы только и обретает свой революционный смысл. То отношение к целому, которое имманентно каждому моменту именно в его простой и трезвой повседневности, но которое реализуется лишь путем этого отношения. Раскрывая отношение момента повседневной борьбы к целому и придавая ему тем самым действительность, осознание поднимает этот момент из голой фактичности, простого существования и возвышает до действительности. Но не следует забывать также, что всякое стремление полностью уберечь «конечную цель» или «сущность» пролетариата и т.п. от осквернения, угроза которого либо таится в их соотносительности с – капиталистическим – существованием, либо, в силу такой соотносительности, может в конце концов вылиться в такое осквернение, ведет к тому же самому отходу от постижения действительности, от «практически-критической» деятельности, к тому же самому возврату к утопическому дуализму субъекта и объекта, теории и практики, к которым привел ревизионизм³⁸.

Практическая опасность любого дуалистического подхода выражается в том, что утрачиваются ориентиры деятельности. А именно, едва лишь мы покидаем ту почву действительности, которая была обретена только благодаря диалектическому материализму (но которую все время надо обретать заново), следовательно, как только мы оказываемся на «естественной» почве существования, неприкрытой, голой и грубой эмпирии, как субъект деятельности и среда «фактов», в которой должна разыгрываться его деятельность, тут же противопоставляются друг другу как резко и непримиримо разделенные принципы. И как невозможно навязать объективной взаимосвязи фактов субъективную волю, желание или решение, точно так же невозможно и отыскать в самих фактах ориентирующий момент для деятельности. Никогда не было и никогда не будет ситуации, в которой факты однозначно говорили бы за или против определенной направленности действий. И чем добросовестней исследуются изолированные факты, т.е. факты в их рефлексивных взаимосвязях, тем меньше они могут однозначно указывать в каком-то направлении. А что чисто субъективное решение должно опять разбиться о тяжесть непонятых и действующих с автоматической «закономерностью» фактов, разумеется само собой. Таким образом, свойственный диалектическому методу взгляд на действительность оказывается – и как раз в применении к проблеме деятельности – единственным взглядом, способным наметить *направление* действий.

Объективное и субъективное самопознание пролетариата на определенной ступени его развития есть одновременно познание достигнутого на этом этапе уровня общественного развития. Во взаимосвязи действительности, в соотносении всех частных моментов с присущими им, но еще не проясненными корнями в целостности снимается чуждость постигнутых таким образом фак-

Что такое ортодоксальный марксизм?

тов: в них начинают проступать те тенденции, которые устремлены к сердцевине действительности, к тому, что принято называть конечной целью. Но когда эта конечная цель не противостоит процессу как абстрактный идеал, а внутренне присутствует в качестве момента истины и действительности, в качестве конкретного смысла уже достигнутой ступени [развития] в конкретном моменте, тогда его познание именно и есть познание того направления, которое (бессознательно) прокладывают направленные на целое тенденции; того направления, которое позволяет именно в данный момент конкретно определить – с позиций и в интересах совокупного процесса, освобождения пролетариата – правильную линию действий.

Однако общественное развитие постоянно усиливает конфликтность отношения между частным моментом и целым. Именно потому, что действительность излучает имманентный ей смысл с все большим блеском, смысл событий все глубже внедряется в повседневность, тотальность все глубже погружается в пространственно-временную моментальность явления. Путь сознания в истории становится не все более ровным, а наоборот, все более трудным и ответственным. Поэтому функция ортодоксального марксизма, преодоление им ревизионизма и утопизма – это не единократное опровержение ложных тенденций, но беспрестанно возобновляющаяся борьба против развращающего воздействия буржуазных форм сознания на мышление пролетариата.

Такая ортодоксия есть не хранительница традиций, а не смыкающая глаз провозвестница отношения сегодняшнего мгновения и его задач к тотальности исторического процесса. А значит, не устарели и остаются верными слова «Манифеста Коммунистической партии» о задачах ортодоксии и ее носителей, коммунистов: «Коммунисты отличаются от остальных пролетарских партий лишь тем, что, с одной стороны, в борьбе пролетариев различных наций они выделяют и отстаивают общие, не зависящие от национальности интересы всего пролетариата; с другой стороны, тем, что на различных ступенях развития, через которые проходит борьба пролетариата с буржуазией, они всегда являются представителями интересов движения в целом»³⁹.

Март 1919 года

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. – С. 422.

2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. – С. 423.

3 Там же. – С. 381.

4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.1. – С. 428. – См. по данному вопросу также статью «Классовое сознание».

5 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21 – С.302. (Курсив мой – Д.Л.)

История и классовое сознание

6 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. I.- С. 43. (Курсив мой – Д.Л.). Это ограничение метода рамками исторической социальной действительности является очень важным. Недоразумения, порождаемые Энгельсовым изложением диалектики, в сущности, основаны на том, что Энгельс, следуя ложному примеру Гегеля, распространяет диалектический метод также на познание природы. Однако в познании природы не присутствуют решающие определения диалектики: взаимодействие субъекта и объекта, единство теории и практики, историческое изменение субстрата категорий как основа их изменения в мышлении и т.д. Для подробного обсуждения этих вопросов здесь, к сожалению, нет никакой возможности.

7 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.46. Ч.1 – С. 41.

8 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 22. – С.530. Нельзя забывать и о том, что «естественнонаучная» строгость как раз и предполагает «константность» элементов. Это методологическое требование выдвинуто уже Галилеем.

9 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.25. Ч 1. – С. 228. Аналогичным образом см.: Там же. – С. 50; С. 233-234. Это разграничение между существованием (которое распадается на диалектические моменты видимости, явления и сущности) и действительностью восходит к логике Гегеля. К сожалению, здесь нет возможности остановиться на том, сколь многим обязана категориальная система «Капитала» этим разграничениям. Также и разграничение между представлением и понятием восходит к Гегелю.

10 Там же. Т.25. Ч.П. – С. 384.

11 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.46. Ч. 1. – с. 37.

12 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.46. Ч. 1. – с. 37.

13 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. – С.133.

14 Мы бы хотели привлечь внимание читателей, которые более глубоко интересуются методологическими вопросами, к тому, что и в «Логике» Гегеля вопрос об отношении целого к частям образует диалектический переход от существования к действительности, причем следует заметить, что рассматриваемый там же вопрос об отношении внутреннего к внешнему также является проблемой тотальности.

15 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26. Ч.П. – С. 583, 586.

16 Adler. Marxistische Probleme – S. 77.

17 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.26. Ч III. – с.52.

18 Там же. Т.4. – с.134.

19 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т.46. Ч.1. – С. 36.

20 Особенно рафинированный оппортунизм Кунова проявляется в том, что он, несмотря на свое основательное знакомство с трудами Маркса, неожиданно превращает понятие целого (совокупности, тотальности) в понятие «суммы», вследствие чего упраздняется всякое диалектическое отношение. См. Cunov. Die Marxsche Gesechichts-, Gesellschafts- und Staatstheorie, II, 155-157.

21 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.6 – С.441.

22 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.23 – С.580.

23 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.13 – С.498. См. статью «Овеществление и сознание пролетариата».

24 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.23. – С.591.

25 Гегель. Философия права. – М.-Л.: 1934. – С. 289.

26 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.2 – С.94.

27 Нет ничего неожиданного в том, что Кунов именно в этом пункте, где Маркс радикально преодолел Гегеля, вновь пытается поправить Маркса с помощью кантиански

Что такое ортодоксальный марксизм?

истолкованного Гегеля. Он противопоставляет чисто историческому пониманию государства у Маркса гегелевское государство как «вечную ценность», «погрешности» которого (под ними понимаются функции государства как инструмента классового угнетения) имеют значение лишь как «исторические предметы», которыми, однако, не предпринимается сущность, определение и целеустановка государства». Вывод, будто (по Кунову) Маркс в этом вопросе уступает Гегелю, отстает от него, основан на том, что он-де «рассматривает этот вопрос с точки зрения политики, а не с точки зрения социологии». – *Op. cit.*, I,308. Наглядно видно, что оппортунисты не способны преодолеть гегелевскую философию; если они не скатываются к вульгарному материализму или к Канту, то используют реакционное содержание философии государства Гегеля для искоренения революционной диалектики из марксизма, для мыслительного увековечения буржуазного общества.

28 Чрезвычайно характерна в этом плане позиция Гегеля по отношению к политической экономии («Философия права». № 189). Он очень отчетливо распознает ее основную методологическую проблему – проблему соотношения случайности и необходимости (его позиция весьма сходна с Энгельсовой: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. т. 21. – С. 174; т. 21. – С. 36). Но он не в состоянии уяснить основополагающее значение материального субстрата политэкономии, отношений между людьми; он останавливается на «кишмя кишашем произволе», а законы политэкономии приобретают «сходство с планетной системой». – Гегель. Сочинения. Т. VII. – С. 218.

29 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 37. – С. 394.

30 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 1. – С. 380

31 Hegel. Die Vernunft in der Geschichte. Phil. Bibl. I, 133-134.

32 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3 – С. 1.

33 О причинах такого положения вещей см. статью «Классовое сознание».

34 Гегель. Философия права. № 346-347. – Сочинения. Т. VII. – С. 356.

35 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.2 – С. 39-40

36 Гильфердинг Р. Финансовый капитал. – М.: 1959. – С.43-44.

37 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25. Ч. II – С. 443.

38 См. в этой связи полемику Зиновьева против выступления Геда в Штуттгарте по вопросу об отношении последнего к войне. – Г. Зиновьев, Н. Ленин. Против течения. Петроград, 1919. – С. 484-485. См. также книгу Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме».

39 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.4 – С. 437.

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ КАК МАРКСИСТ



Экономисты объясняют нам, как совершенствуется производство при указанных отношениях; но у них остается не выясненным, каким образом производятся сами эти отношения, то есть то историческое движение, которое их порождает.

К. Маркс. Наброски философии

1.

Не господство экономических мотивов в объяснении истории решающим образом отличает марксизм от буржуазной науки, а точка зрения тотальности. Категория тотальности, всестороннее, определяющее господство целого над частями есть сущность того метода, который воспринял Маркс от Гегеля и который он оригинально преобразовал, положив в основу совершенно новой науки. Капиталистическое отделение производителя от совокупного процесса производства, раздробление трудового процесса на части без учета человеческого своеобразия рабочего, атомизация общества, распадающегося на индивидов, производящих без плана и без взаимной связи, как придется, и т.д., – все это должно было глубоко повлиять также на мышление, науку и философию капитализма. Фундаментальная революционность пролетарской науки состоит не только

Роза Люксембург как марксист

в том, что она противопоставляет буржуазному обществу свое революционное содержание, но в первую очередь в революционной сущности самого метода. *Господство категории тотальности есть носитель революционного принципа в науке.*

Этот революционный принцип гегелевской диалектики, присущий ей, несмотря на содержательно консервативные аспекты гегельянства, был распознан многими мыслителями до Маркса, однако из такого познания не смогла вырасти революционная наука. Лишь у Маркса гегелевская диалектика действительно стала, говоря словами Герцена, «алгеброй революции». Однако она не просто была материалистически перевернута с головы на ноги. Напротив, при таком переворачивании и благодаря этому революционный принцип гегелевской диалектики мог проявиться лишь в силу того, что Марксом были полностью сохранены сущность метода, точка зрения тотальности, рассмотрение всех частных явлений как моментов целого, диалектического процесса, понятия как единство мысли и истории. Диалектический метод у Маркса исходит из познания общества как тотальности. Буржуазная наука либо – наивно-реалистически – приписывает «действительность», либо – «критически» – автономии тем необходимым и полезным для методологии частных наук абстракциям, которые возникают, с одной стороны, вследствие содержательного обособления объектов исследования, с другой стороны, вследствие научного разделения труда и специализации, в то время как марксизм упраздняет эти обособления, возвышая и низводя их до диалектических моментов. Абстрагирующая изоляция элементов, будь то область исследования в целом или отдельные проблемные комплексы либо понятия в рамках известной области исследований, конечно, является неизбежной. Но решающее значение имеет то, является ли такая изоляция лишь средством для познания целого, то есть вовлекается ли она всегда в правильную совокупную взаимосвязь, которую она предполагает и требует, или же абстрактное познание изолированной части этой области сохраняет свою «автономию», остается самоцелью. Для марксизма, стало быть, в конечном счете, не существует самостоятельной юридической науки, политической экономии, истории, и т.д., а существует лишь единственная, единая – историко-диалектическая – наука о развитии общества как тотальности.

Точка зрения тотальности, однако, определяет не только предмет, но также субъекта познания. Буржуазная наука рассматривает явления общества – сознательно или бессознательно, наивно или изоциренно – всегда с точки зрения индивида¹. А с точки зрения индивида нельзя разглядеть никакой тотальности, в лучшем случае можно увидеть аспекты отдельной области, а по большей части – лишь нечто фрагментарное: разрозненные «факты» или абстрактные частные законы. Тотальность предмета может быть положена лишь тогда, когда полагающий субъект сам является тотальностью. Когда полагающий субъект, чтобы мыслить себя самого, вынужден мыслить предмет как тотальность. Эту точку зрения тотальности как субъекта в современном обществе представляют единственно и только классы. И Маркс, особенно в «Капитале», рассматривая

История и классовое сознание

любую проблему с данной точки зрения, в этом пункте поправил Гегеля, позиции которого все еще колебались между «великим индивидом» и абстрактным духом народа, намного более решительно и плодотворно, нежели в вопросе об «идеализме» или «материализме». Правда, это редко находило понимание у последователей Маркса.

Классическая политэкономию и в еще большей мере ее вульгаризаторы трактовали капиталистическое развитие всегда с точки зрения *отдельного капиталиста* и поэтому запутались в целом ряде неразрешимых противоречий и мнимых проблем. Маркс в «Капитале» радикально порывает с этим методом. И не в том дело, что в агитационных целях он каждый момент тотчас же рассматривал исключительно с точки зрения пролетариата. Из подобной односторонности могла возникнуть лишь новая вульгарная политэкономию, так сказать, с обратным знаком. Напротив, дело в том, что он рассматривал проблемы всего капиталистического общества как проблемы созидających его классов – класса капиталистов и класса пролетариев *в качестве целостностей* (als Gesamtheiten). В какой мере благодаря этому на целый ряд вопросов был пролит совершенно новый свет, какие возникли новые проблемы, о которых классическая политэкономию даже не подозревала, не говоря о том, чтобы предложить их решение, как многие из ее мнимых проблем разрешились в ничто, – исследование всего этого на данных страницах является невозможным. Автор хотел бы указать лишь на методологическую проблему. Главное здесь состоит лишь в том, чтобы четко очертить две предпосылки подлинного, а не нарочитого, как у эпигонов Гегеля, овладения диалектическим методом, а именно: *тотальностью* должен быть как положенный предмет, так и полагающий субъект.

2.

Роза Люксембург в своем главном труде «Накопление капитала», после десятилетий вульгаризации марксизма, берется за означенную проблему, отпрявляясь от этого пункта. Это опошление марксизма, преклонение вульгарного марксизма перед буржуазной «научностью» нашли свое первое и открытое выражение в «Предпосылках социализма» Бернштейна. Отнюдь не случайно, что та же самая глава книги, которая начинается яростными нападками на диалектический метод от имени строгой «науки», заканчивается упреком в бланкизме, адресованным самому Марксу. Не случайно то, что революционность Маркса должна была предстать как откат к примитивному периоду рабочего движения, к бланкизму в то мгновение, когда были отброшены точка зрения тотальности, исходный пункт и цель, предпосылка и требование диалектического метода; в то мгновение, когда революция стала пониматься не как момент процесса, а как изолированный, отрезанный от совокупного движения акт. А с принципом революции, этим следствием категориального господства тотальности, распадается вся система марксизма. И в качестве оппортунизма критика Бернштейна является слишком оппортунистической, чтобы в этом плане

Роза Люксембург как марксист

могли проясниться все ее неизбежные последствия².

Но диалектический ход истории, самый след которого, прежде всего, стремятся выкорчевать из марксизма оппортунисты, тем не менее, вынуждает их и здесь к необходимым выводам. Экономическое развитие в эпоху империализма делает все более невозможными мнимые нападки на капиталистическую систему, «научный» анализ ее явлений, рассматриваемых изолированно – в интересах «объективной и строгой науки». Следует не только политически решить для себя, выступать за или против капитализма. Следует принять также теоретическое решение, и развилка такова: либо надо по-марксистски рассматривать совокупное развитие общества как тотальности, чтобы затем теоретически и практически овладеть феноменом империализма, либо надлежит уклониться от этой встречи, ограничиваясь частнонаучным изучением обособленных моментов. Монографический подход надежнее всего замыкает горизонт перед проблемой, рассмотрения которой страшилась вся социал-демократия, ставшая оппортунистической. Когда она проводила «точное» описание в отдельных областях, находила применительно к отдельным случаям «имеющие вневременное значение законы», пропадала грань, отделяющая империализм от предшествующего периода. Оппортунисты обретались в капитализме «вообще», существование которого, как им казалось, все больше отвечало сущности человеческого разума, точно так же подчинялись «естественным законам», как это имело место у Рикардо и его последователей, буржуазных вульгарных экономистов.

Если бы мы задались целью исследовать, явился ли практический оппортунизм причиной этого теоретического отката к методологии вульгарных экономистов или наоборот, то это была бы не марксистская и не диалектическая постановка вопроса. Для способа рассмотрения, присущего историческому материализму, две эти тенденции являются неразрывными: они образуют социальную среду, обусловившую состояние, в котором социал-демократия находилась до войны; ту среду, исходя из которой только и могут быть поняты теоретические битвы вокруг «Накопления капитала» Розы Люксембург.

Ибо дебаты, которые велись Бауэром, Экштейном и другими, вращались не вокруг вопроса, является ли содержательно правильным либо ложным решение проблемы накопления капитала, которое предложила Роза Люксембург. Напротив, спор шел о том, имеется ли здесь вообще проблема; с крайней горячностью оспаривалось наличие действительной проблемы. С методологической точки зрения вульгарной политэкономии это вполне понятно, даже необходимо. Ибо если вопрос накопления, с одной стороны, изучается как частная проблема политэкономии, с другой стороны, рассматривается с позиций отдельного капиталиста, то на самом деле здесь вообще нет никакой проблемы³.

Это отрицание проблемы в целом тесно связано с тем, что критики Розы Люксембург обошли вниманием решающую главу книги («Исторические условия накопления») и последовательно поставили вопрос в следующей форме: являются ли правильными формулы Маркса, которые базируются на основе

История и классовое сознание

методологически изолированного предположения о состоящем из капиталистов и пролетариев обществе? И каким образом их можно лучше всего истолковать? Критики совершенно проигнорировали то, что данное предположение у самого Маркса было лишь методологическим приемом, нужным для более ясного понимания проблемы, от которого, однако, следовало переходить к более широкой постановке вопроса, ориентированной на тотальность общества. Они проигнорировали, что Маркс сам сделал этот шаг применительно к так называемому первоначальному накоплению в первом томе «Капитала»; они – сознательно или бессознательно – не замечали того, что весь «Капитал» является фрагментом именно в отношении этого вопроса, обрывающимся как раз там, где должна была фигурировать данная проблема; что, соответственно, Розе Люксембург ничего не оставалось, кроме как додумать до конца и сообразно с этим дополнить фрагмент Маркса в духе самого Маркса.

Тем не менее критики Розы Люксембург действовали вполне последовательно. Ведь с точки зрения отдельного капиталиста, с точки зрения вульгарной политэкономии, эта проблема фактически и не должна ставиться. С точки зрения отдельного капиталиста экономическая действительность предстает как мир, в котором правят вечные естественные законы; к законам этого мира капиталист должен приспосабливать всю свою жизнедеятельность. Реализация прибавочной стоимости, накопление совершается для него в форме обмена с другим обособленным капиталистом (впрочем, даже здесь это происходит лишь зачастую, но отнюдь не всегда). И вся проблема накопления предстает лишь как одна из многообразных изменчивых форм, которые приобретают формулы Д-Т-Д и Т-Д-Т в процессах производства, обращения и т.д. Таким образом, для вульгарной политэкономии проблема накопления является частной проблемой частной науки, которая все равно, что никак, не связана с судьбой капитализма в целом; ее решение гарантируется правильностью Марксовых «формул», которые, согласно Отто Бауэру, надо лишь «время от времени» улучшать. То обстоятельство, что с помощью этих формул нельзя в принципе и никогда постичь экономическую действительность, поскольку их предпосылкой является абстрагирование от совокупной действительности (общество рассматривается как состоящее лишь из капиталистов и пролетариев), поскольку формулы могут служить лишь для прояснения проблемы, лишь как трамплин, позволяющий допрыгнуть до правильной постановки проблемы, – это Отто Бауэр и со товарищи уразумели так же мало, как в свое время школа Рикардо – марксистские ходы мысли.

«Накопление капитала» вновь берет на вооружение метод и постановку вопроса молодого Маркса, содержащиеся в «Ницете философии». Подобно тому как там анализируются исторические условия, которые сделали возможной политэкономия Рикардо и придали ей значимость, точно так же здесь этот метод применяется к фрагментарным исследованиям второго и третьего томов «Капитала». Буржуазные политэкономы как идеологические представители поднимающегося капитализма должны были отождествлять найденные Сми-

Роза Люксембург как марксист

том и Рикардо «естественные законы» с общественной действительностью, чтобы выдавать капиталистическое общество за единственно возможное, соответствующее «природе» человека и разуму. Точно так же социал-демократия в качестве идеологического выражения той омещавившейся рабочей аристократии, которая была заинтересована в империалистической эксплуатации всего мира на последней стадии капитализма, но тем не менее попыталась уклониться от своей неизбежной судьбы, от мировой войны, должна была рассматривать развитие таким образом, как если бы капиталистическое накопление могло осуществляться в безвоздушном пространстве математических формул (то есть – без проблем, то есть – без мировой войны). В том, что касается политической мудрости и предвидения, социал-демократы оказались далеко позади слоев с крупно-буржуазными, капиталистическими интересами, которые принимали империалистическую эксплуатацию вместе со всеми ее военными последствиями. Но именно благодаря этому социал-демократы уже тогда сумели теоретически занять свой сегодняшний пост: они стали хранителями капиталистического экономического строя и гарантами его вечного существования, они стали охранять его от роковых катастрофических последствий, к которым пророчески слепо влекут империалистический капитализм его истинные представители. Подобно тому как отождествление рикардовских «естественных законов» с общественной действительностью было идеологической самообороной поднимающегося капитализма, точно так же истолкования Маркса, данные австрийской школой, совершенная ею идентификация Марксовых абстракций с тотальностью общества является самообороной гибнущего капитализма с его «рациональностью». Подобно тому как концепция тотальности молодого Маркса ярко осветила ужасный лик тогда еще цветущего капитализма, точно так же в концепции Розы Люксембург, которая включила фундаментальные проблемы капитализма в тотальность исторического процесса, последний расцвет капитализма приобретает характер ужасного данс-макабра, эдиповского пути к своей неминуемой судьбе.

3.

Роза Люксембург посвятила опровержению «марксистской» вульгарной политэкономии брошюру, вышедшую после ее смерти. Это опровержение, однако, нашло бы самое верное, – верное как с точки зрения изложения, так и с точки зрения методологии, – место в конце второго раздела самого «Накопления капитала», как четвертый приступ к рассмотрению этого судьбоносного вопроса капиталистического развития. Ибо своеобразие изложения в этой книге состоит в том, что преобладающую ее часть занимают проблемно-исторические исследования. Дело не только в том, что Марксов анализ простого и расширенного воспроизводства составляет исходный пункт исследования вообще и почин окончательного, содержательного рассмотрения самой проблемы. Сердцевина книги – это, так сказать, историко-литературный анализ великих дебатов

История и классовое сознание

по вопросу накопления: дебатов между Сисмонди и Рикардо с его школой, между Родбертусом и Кирхманном, между народниками и русскими марксистами.

Однако и с этой своей манерой изложения Роза Люксембург не стоит вне рамок Марксовой традиции. Свообразие композиции ее книги, напротив, также означает возврат к оригинальному, не фальсифицированному марксизму – к манере изложения самого Маркса. Ибо его первое зрелое, завершенное и итоговое произведение, «Нищета философии», опровергает Прудона путем возвращения к действительным источникам его воззрений – к Рикардо, с одной стороны, к Гегелю – с другой стороны. Анализ того, где, как и, прежде всего, почему Прудон *должен был* неправильно понять Рикардо и Гегеля, является источником света, который не только немилосердно высвечивает противоречие, в которое вступает Прудон с самим собой, но проникает до самых темных, неизвестных ему самому оснований, из которых проистекают все его заблуждения: до классовых отношений, теоретическим выражением которых являются его воззрения. Ведь «экономические категории представляют собой лишь теоретическое выражение, абстракции общественных отношений производства», – утверждает Маркс⁴. И хотя главное его теоретическое произведение лишь отчасти допускало подобный способ проблемно-исторического *изложения* ввиду своего объема и многообразия рассматриваемых отдельных проблем, это не должно затуманивать *содержательной однородности трактовки проблемы*. «Капитал» и «Теория прибавочной стоимости», по сути дела, являются произведением, внутреннее строение которых означает содержательное разрешение проблемы, блестяще, великолепно также в литературном плане, очерченной и поставленной в «Нищете философии».

Эта внутренняя форма изложения проблемы вновь приводит к центральной проблеме диалектического метода, к правильно понятому господствующему положению категории тотальности и тем самым – к гегелевской философии. Философский метод Гегеля, который всегда – наиболее увлекательно в «Феноменологии духа», – был одновременно историей философии и философией истории, в этом существенном пункте никогда не отбрасывался Марксом. Ибо гегелевское диалектическое воссоединение мышления и бытия, понимание их единства как единства и тотальности некоторого процесса, составляют также сущность философии истории исторического материализма. Даже материалистическая полемика против «идеологического» понимания истории в большей мере направлена против эпигонов Гегеля, нежели против самого мастера, который в этом отношении стоял намного ближе к Марксу, чем думал некоторое время сам Маркс в пылу борьбы с «идеалистическим» окостенением диалектического метода. «Абсолютный» идеализм эпигонов Гегеля как раз и означает разложение первоначальной тотальности системы⁵, отделение диалектики от живой истории и тем самым, в конечном счете, – ликвидацию диалектического единства мышления и бытия. Но догматический материализм эпигонов Маркса повторяет вновь это разложение конкретной тотальности исторической действительности. Даже если их метод не вырождается в пустую схематику,

Роза Люксембург как марксист

как у эпигонов Гегеля, то он застывает в виде механистической вульгарной политэкономии, выступающей в качестве частной науки. Если эпигоны Гегеля из-за этого утрачивали способность постигать исторические события с помощью своих чисто идеологических конструкций, то эпигоны Маркса точно так же оказываются неспособными понять как взаимосвязь так называемых «идеологических» форм общества с их экономической основой, так и саму экономику как тотальность, как общественную действительность.

Диалектический метод, к чему бы он ни применялся, вращается вокруг одной и той же проблемы: вокруг познания тотальности исторического процесса. Поэтому для него «идеологические» и «экономические» проблемы утрачивают их взаимную косную чуждость, перетекают друг в друга. *Проблемная история фактически становится историей проблем.* Литературное, научное выражение проблемы выступает как выражение общественной целостности, как выражение ее возможностей, границ и проблем. Литературно-историческое рассмотрение проблемы, стало быть, наиболее четко может выразить проблематику исторического процесса. История философии становится философией истории.

Поэтому отнюдь не случайно, что оба основополагающих труда, которыми начинается теоретическое возрождение марксизма, – «Накопление капитала» Розы Люксембург и «Государство и революция» Ленина, – также с точки зрения изложения возвращаются к форме изложения молодого Маркса. Дабы диалектически нарисовать перед нашим взором сущностную проблему своих произведений, они некоторым образом дают литературно-историческое изложение генезиса своих проблем. И когда они анализируют изменение и метаморфозы тех воззрений, которые предшествовали их собственной постановке проблемы, когда они рассматривают каждый такой этап мыслительного проявления или путаницы в исторической совокупности их условий и последствий, они рисуют с недостижимой иначе жизненностью *сам исторический процесс*, плодом которого, по сути, является их собственная постановка проблемы и ее решение. Нет большей разницы, нежели разница между этим методом и «учетом предшественников» в буржуазной науке (к каковой вполне принадлежат также социал-демократические теоретики). Ибо, когда буржуазная наука проводит методологическое различие между теорией и историей, когда она делает принципиальное методологическое разграничение между отдельными проблемами, стало быть, исключает по мотивам строгой научности проблему тотальности, то проблемная история становится содержательным и формальным балластом для самой проблемы; становится чем-то таким, что может иметь интерес лишь для ученых специалистов; а безграничная широта такого интереса все больше забывает подлинное чутье к истинным проблемам и возвращает бездуховную специализацию.

Вследствие такой смычки с традициями изложения и методологии Маркса и Гегеля намеченная Лениным проблемная история становится внутренней историей европейских революций XIX века; а литературно-историческое изложение Розы Люксембург вырастает до истории битв за возможность и экспан-

История и классовое сознание

сию капиталистической системы. Первые великие потрясения еще неразвитого, поднимающегося капитализма, великие кризисы 1815 и 1818-19 годов начинают эту борьбу в форме «Новых принципов политической экономии» Сисмонди. Речь идет о первом, руководствующемся реакционной целью, познании проблематики капитализма. Неразвитая форма капитализма идеологически выражается в одинаково односторонних и грубых точках зрения противников Сисмонди. В то время как Сисмонди с его реакционным скепсисом усмотрел в кризисах свидетельство невозможности накопления, глашатаи нового производственного строя с их несломленным оптимизмом отрицали неизбежность кризисов, наличие этой проблематики вообще. В конце этой линии сменились на обратные социальная принадлежность вопрошающих и историческое значение их ответов: уже стали, пусть даже еще далеко не вполне осознанными, темами обсуждения судьба революции, гибель капитализма. Тот факт, что Марксов анализ оказал решающее теоретическое влияние на эту перемену знаков, является свидетельством, что из рук буржуазии все больше начинало ускользать также идеологическое руководство обществом. И если в теоретических позициях народников открыто проявляется их мелкобуржуазная реакционная сущность, то в случае русских «марксистов» чрезвычайно интересно наблюдать, как они все сильнее становятся идеологическими поборниками капиталистического развития. Они становятся идеологическими наследниками социального оптимизма Сэя, Мак-Каллоха и т.д. в своих взглядах на возможности развития капитализма. «Легальные» русские марксисты, – отмечает Роза Люксембург, – несомненно, победили своих противников, народников, но их победа была слишком убедительна <...> Речь шла о том, жизнеспособен ли капитализм вообще и в особенности в России, и вышеупомянутые марксисты настолько основательно продумывали эту жизнеспособность, что они даже теоретически доказали возможность вечного существования капитализма. Ясно, что, если предполагать безграничность накопления капитала, то доказана также безграничная жизнеспособность капитализма. Если капиталистический способ производства в состоянии обеспечить безграничное развитие производительных сил, экономический прогресс, то он непреодолим»⁶.

Тут разразился четвертый и последний поединок вокруг проблемы накопления, поединок Отто Бауэра с Розой Люксембург. Вопрос социального оптимизма претерпел новое изменение функций. Сомнение в возможности накопления у Розы Люксембург сбрасывает с себя свою абсолютистскую форму. Оно становится *историческим* вопросом об условиях накопления и тем самым порождает уверенность, что безграничное накопление является невозможным. Накопление становится диалектическим в силу того, что оно рассматривается в своем совокупном общественном окружении. Оно вырастает в диалектику всей капиталистической системы. «В тот момент, – отмечает Роза Люксембург, – когда Марксова схема расширенного воспроизводства отвечает действительности, она указывает исход, историческую границу движения накопления, стало быть, – конец капиталистического производства. Невозможность накопления равносильна для

Роза Люксембург как марксист

капитализма невозможности дальнейшего развертывания производительных сил и, следовательно, – объективной исторической необходимости гибели капитализма. Отсюда проистекает противоречивое движение на последней, империалистической стадии капитализма, представляющей собой завершающий период на историческом пути капитала»⁷. Как только сомнение перерастает в диалектическую уверенность, оно не оставляет и следа от всего мещански-реакционного наследства, полученного от прошлого: *оно становится оптимизмом, теоретической уверенностью в грядущей социальной революции*.

Это изменение функций придает противоположной позиции, подтверждающей возможность безграничного накопления, мещански переменчивый, трусливый и мнительный характер. Положительному ответу Отто Бауэра не достает солнечного и беспримесного оптимизма Сэя или Туган-Барановского. Бауэр и его единомышленники со всей своей марксистской терминологией являются в своей теории по сути дела прудонистами. Их попытки решить проблему накопления, лучше сказать, не признать ее в качестве проблемы, в конечном счете, восходят к стремлению Прудона сохранить «хорошие стороны» капиталистического развития и при этом уклониться от его «дурных сторон»⁸. Признание вопроса о накоплении, однако, означает признание, что эти «дурные стороны» неразрывно связаны с внутренней сутью капитализма; следовательно, оно означает, что империализм, мировую войну и мировую революцию нужно понимать как необходимые составляющие развития. Но это противоречит, как уже подчеркивалось, непосредственным интересам тех слоев, чьими идеологическими глашатаями стали марксисты-центристы: тех слоев, которые хотели бы высокоразвитого капитализма без империалистических «наростов», «упорядоченного» производства – без приносимых войной «расстройств» и т.д. «Сторонники этой концепции, – указывает Роза Люксембург, – пытаются внушить буржуазии, что империализм и милитаризм наносят ущерб ей самой, ее собственным капиталистическим интересам, чтобы тем самым изолировать якобы не более чем горстку наживающихся на этом империализме и таким образом создать блок пролетариата с широкими кругами буржуазии, дабы «смягчить» империализм, <...> «вырвать у него жало»! Подобно тому как либерализм в эпоху своего упадка в пик плохо информированной монархии апеллирует к той, которая информирована лучше, точно так же марксистский центр хотел бы апеллировать от следующей плохим советам буржуазии к буржуазии, готовой внимать урокам»⁹. Бауэр со товарищи капитулировали перед капитализмом как экономически, так и идеологически. Эта капитуляция теоретически выражается в их капиталистическом фатализме, в их вере в вечное, гарантированное «естественными законами» существование капитализма. Но поскольку они как подлинны мещане являются лишь идеологическими и экономическими прихвостнями капитализма, поскольку их желание устремлено к капитализму без «дурных сторон», без «наростов», постольку они одновременно стоят в – опять-таки чисто мещанской – «оппозиции» к капитализму: в *этической оппозиции*.

История и классовое сознание

4.

Экономический фатализм и новое этическое обоснование социализма тесно связаны между собой. Не случайно то, что у Бернштейна, Туган-Барановского и Отто Бауэра мы равным образом находим такое этическое обоснование. А именно, оно появляется не только в силу необходимости отыскать и найти субъективную замену загражденному ими самими объективному пути к революции, но также методологически проистекает из вульгарно-экономического подхода, из методологического индивидуализма. Новое «этическое» обоснование социализма является субъективной стороной отсутствия категории тотальности, которая только и обладает силой воссоединения, обобщения. Для индивида – будь то отдельный капиталист или отдельный пролетарий – окружающий его мир, его общественная среда (и природа, как их теоретическое отражение и проекция) должны казаться brutally и абсурдно роковыми, по сути остающимися вечно чуждыми ему. Этот мир может быть понят индивидом лишь тогда, когда в теории он приобретает форму «вечных естественных законов»; это значит, когда он приобретает чуждую человеку рациональность, совершенно не подвластную и не пронцаемую для его деятельной способности; когда человек относится к нему чисто контемплитивно, фаталистически. В таком мире действия возможны лишь на двух путях, но и тот и другой являются лишь мнимыми, не пригодными для действия, для изменения мира. Во-первых, это использование познанных вышеуказанным образом, фаталистически воспринятых, неизменных «законов» для определенных целей человека (примером тому является техника). Во-вторых, это обращенная лишь вовнутрь деятельность, выступающая в качестве попытки совершить изменение мира в единственном оставшемся в распоряжении человека, свободном пункте мира, в самом человеке (этика). Но поскольку с механизацией мира неизбежно механизировается и его субъект, сам человек, постольку эта этика остается также абстрактной, остается чисто нормативной, а не по-настоящему активной, созидательной, и по отношению к тотальности изолированного от мира человека. Она остается простым долженствованием, она имеет характер чистой императивности. Методологическая взаимосвязь между «Критикой чистого разума» Канта и его «Критикой практического разума» является неукоснительной и неизбежной. И всякий «марксист», который при рассмотрении общественно-экономического процесса отказался от точки зрения тотальности, от метода Гегеля-Маркса, дабы как-то приблизиться к не историческому методу частных наук, к методу «критического» рассмотрения, занимающегося поиском «законов», – такой марксист должен, коль скоро он поднимает проблему деятельности, возвращаться к абстрактной императивной этике кантовской школы.

Ибо когда порывают с рассмотрением истории под углом зрения тотальности, то разрывают единство теории и практики. Деятельность, практика, – в «Тезисах о Фейербахе» Маркс потребовал поставить ее во главу угла, – по сути своей, является вторжением в действительность, изменением ее. Но дейст-

Роза Люксембург как марксист

вительность может быть понята и сделана проницаемой лишь как тотальность, а на это проникновение в действительность способен лишь субъект, который сам является тотальностью. Не напрасно молодой Гегель выдвигает в качестве первого требования своей философии тот тезис, что следует «понять и выразить истинное не как субстанцию только, но равным образом и как субъект»¹⁰. Тем самым он раскрыл грубейшую ошибку, последнюю границу классической немецкой философии. Вот только его собственная философия оказалась не в состоянии действительно выполнить его требование; она во многом натолкнулась на те же самые границы, что и предшественники Гегеля. Лишь Марксу, который центрировал осуществление познанной тотальности вокруг действительности исторического процесса и ограничил его этой действительностью, определив тем самым познаваемую и подлежащую познанию тотальность, суждено было конкретно выявить это «истинное, понятое как субъект» и, таким образом, установить единство теории и практики. Научно-методологическое превосходство точки зрения класса (в противоположность точке зрения индивида) уже было прояснено вышесказанным. Теперь становится очевидной также причина этого превосходства: *лишь класс способен деятельно вторгнуться в общественную действительность и изменить ее в целом, как тотальность*. Поэтому «критика», которая ведется с этой точки зрения, исходя из познания тотальности, представляет собой диалектическое единство теории и практики. В неразрывном диалектическом единстве она есть одновременно причина и следствие, одновременно отражение и движитель историко-диалектического процесса. Пролетариат как субъект общественного мышления одним ударом разрушает дилемму бессилия: дилемму фатализма чистых законов и этики чистого долженствования.

Если, стало быть, для марксизма жизненно важным вопросом становится познание исторической обусловленности капитализма (проблема накопления), то он достигает такого познания потому, что лишь в этой взаимосвязи, в единстве теории и практики обретает свое обоснование необходимость социальной революции, тотального преобразования тотальности общества. Лишь в том случае, когда самые познаваемость и познание этой взаимосвязи могут быть постигнуты как продукт процесса, круг диалектического метода может замкнуться (и это положение восходит к Гегелю). Роза Люксембург уже в ее ранней полемике против Бернштейна подчеркивает это сущностное различие тотального и частного, диалектического и механического рассмотрения истории (независимо от того, является ли оно оппортунистическим или путчистским). «В этом состоит, — заявляет она, — главное различие между бланкистским государственным переворотом, совершаемым «решительным меньшинством», которое всегда появляется как выстрел из пистолета и потому всегда несвоевременно, и завоеванием государственной власти большой и классово-сознательной народной массой. Такое завоевание само по себе может быть лишь продуктом начавшегося краха буржуазного общества и потому в себе самом носит экономическо-политическое узаконение своего эпохально обоснованного осуществле-

История и классовое сознание

ния»¹¹. Аналогичным образом она рассуждает в своем последнем произведении: «Объективная тенденция капиталистического развития довлеет указанной цели, она способна уже намного скорее вызвать такое социальное и политическое обострение противоречий в обществе, такую неприемлемость обстановки, что обязательно уготовит конец этой господствующей системе. Но сами эти социально-политические противоречия, в первую очередь, являются лишь продуктом *экономической* неприемлемости капиталистической системы, и как раз из этого источника они черпают свое обострение, растущее в той мере, в какой все более осязаемой становится их неприемлемость»¹².

Следовательно, пролетариат одновременно является продуктом, перманентного кризиса капитализма и осуществлением тех тенденций, которые влекут капитализм к кризису. «Пролетариат, – говорит Маркс, – осуществляет приговор, который частная собственность выносит сама себе созданием пролетариата»¹³. Пролетариат действует, когда он познает свое положение. Он познает свое положение в обществе, восставая против капитализма.

Но само классовое сознание пролетариата, истина процесса, понятая «как субъект», менее всего являются стабильно одинаковыми, менее всего они движутся вперед в соответствии с механическими законами. Это – сознание самого диалектического процесса: оно также является диалектическим понятием. Ибо практическая, активная сторона классового сознания, его истинная сущность могут лишь тогда наглядно выступать в своем истинном облике, когда исторический процесс повелительно потребует, чтобы это классовое сознание вступило в силу, когда острый кризис экономики побудит его к действию. В противном случае, в соответствии с латентно-перманентным кризисом капитализма, оно останется теоретическим и латентным¹⁴: оно императивно противостоит отдельным повседневным вопросам и повседневной борьбе как «чистое сознание», как, говоря словами Розы Люксембург, «сумма идей».

Однако в диалектическом единстве теории и практики, которое распознал Маркс в освободительной борьбе пролетариата, доведя его до осознания, не может быть никакого чистого сознания, ни в качестве «чистой теории», ни в качестве простого императива, чистого долженствования, простой нормы деятельности. И императив имеет здесь свою действительность. Это значит, что тот уровень исторического процесса, который придает классовому сознанию пролетариата императивный, «латентный и теоретический» характер, – этот уровень должен сложиться как соответствующая действительность и, будучи таковым, действительно вторгнуться в тотальность процесса. Таким формообразованием (Gestalt) пролетарского сознания является партия. Не случайно, что та же самая Роза Люксембург, которая раньше и яснее многих поняла спонтанную природу революционных массовых акций (в которых она, впрочем, подчеркнула другой аспект констатированного ранее положения дел, а именно, что эти акции необходимо продуцируются необходимостью экономического процесса), точно так же ранее многих уяснила себе роль партии в революции¹⁵. Для вульгаризаторов-механицистов партия была лишь организационной фор-

Роза Люксембург как марксист

мой, – равным образом массовое движение, революция также рассматривались как организационные проблемы. Роза Люксембург рано поняла, что организация в гораздо большей мере является следствием, нежели предпосылкой революционного процесса, точно так же как и сам пролетариат может конституироваться в класс лишь в процессе и благодаря процессу. В подобном процессе, который партия не может ни вызвать к жизни, ни миновать, ей выпадает, поэтому, возвышенная роль – быть *носителем классового сознания пролетариата, совестью его исторической миссии*. Между тем мнимо более активный, на поверхностный взгляд, и в любом случае более «реальный» способ рассмотрения, при котором партия якобы имеет дело преимущественно или исключительно с организационными задачами, при столкновении с фактом революции скатывается к позиции неустойчивого фатализма, в то время как воззрения Розы Люксембург становятся источником истинной, революционной активности. И если партия призвана заботиться о том, чтобы «на каждом этапе и в каждый момент борьбы была реализована вся сумма наличной и уже расторможенной, задействованной мощи пролетариата, чтобы последняя выразилась в боевой позиции партии, чтобы тактика социал-демократии по своей решимости и четкости никогда не опускалась *ниже* уровня фактического соотношения сил, а напротив, предвосхищала это соотношение»¹⁶, – если это так, то партия в момент происходящей революции превращает присущий ей императивный характер в действительную действительность, погружая в спонтанное массовое движение имманентную ей истину, поднимая это движение от экономической необходимости его возникновения до свободы сознательной деятельности. И это претворение долженствования в действительность становится рычагом подлинно классовой, подлинно революционной организации пролетариата. Познание становится деятельностью, теория – лозунгом; действующая соответственно лозунгу масса все сильнее, сознательнее и устойчивее примыкает к рядам организованного авангарда. Из верных лозунгов органически вырастают предпосылки и возможности также технической организации борющегося пролетариата.

Классовое сознание – это «этика» пролетариата, единство его теории и его практики, тот пункт, где экономическая необходимость его освободительной борьбы диалектическим образом превращается в свободу. Когда партия постигается как исторический образ и как действительная носительница классового сознания, она одновременно становится носителем этики борющегося пролетариата. Эта ее функция призвана определять ее политику. Пусть даже ее политика не всегда согласуется с сиюминутной эмпирической действительностью, пусть даже ее лозунги в известные моменты не находят последователь, – необходимый ход истории не только принесет ей удовлетворение, но моральная сила классового сознания, классовой деятельности также даст свои – практические, реально-политические – плоды¹⁷.

Ведь сила партии есть моральная сила: она питается доверием стихийно революционных масс, которых экономическое развитие побуждает к протесту. Она питается их чувством, что партия является их собственной, до конца им

История и классовое сознание

самим еще не ясной волей, зримым и организованным формообразованием их классового сознания. Лишь когда партия завоевывает и заслуживает это доверие, она может стать предводительницей революции. Ибо только тогда спонтанный напор масс будет со всею силою и со всею импульсивностью устремляться в направлении партии, в направлении собственного самоосознания.

Оппортунисты своим разделением нерасторжимого отгородили себя от этого познания, действительного самопознания пролетариата. Поэтому поборники оппортунизма, совершенно в духе мещанского свободомыслия, издевательски рассуждают о «религиозной вере», которая якобы лежит в основе большевизма, революционного марксизма. В их наветах – признание собственного бессилия. Этот их выхолощенный и внутренне изъеденный скептицизм напрасно прикрывается благородной мантией холодной и объективной «научности». Любое слово и любой жест выдает у лучших из них – отчаяние, у худших – внутреннюю пустоту, которая стоит за отчаянием: полную отрешенность от пролетариата, от его путей и от его призвания. То, что они называют верою и пытаются принизить термином «религия», является не более и не менее чем уверенностью в гибели капитализма, уверенностью в победоносной – в конечном счете – пролетарской революции. Но для этой уверенности не может быть никаких «материальных» ручательств. Она гарантирована нам лишь методологически – благодаря диалектическому методу. Но и эта гарантия может быть проверена и обретена лишь путем деяния, путем революции, путем жизни и смерти во имя революции. Марксист так же мало может быть ученым объективистом, как мало «естественные законы» могут гарантировать уверенность в победе мировой революции.

Но единство теории и практики существует не только в теории, но также и для практики. Подобно тому как пролетариат в качестве класса может обрести и закрепить свое классовое сознание лишь в борьбе и деянии, может подняться на уровень своей объективно данной исторической задачи, точно так же партия и отдельный борец способны лишь тогда действительно освоить свою теорию, когда они в состоянии внести такое единство в свою практику. Так называемая религиозная вера является здесь не чем иным, как методологической уверенностью в том, что, несмотря на все временные поражения и откаты назад, исторический процесс до конца идет своим путем *в наших деяниях, благодаря нашим деяниям*. Для оппортунистов и здесь существует старая дилемма бессилия; они говорят: если коммунисты предвидят «поражение», то либо они обязаны воздержаться от любого действия, либо они являются бессовестными авантюристами, политиками, делающими ставку на катастрофы, путчистами. В силу своей духовной и моральной ущербности оппортунисты не в состоянии видеть *самих себя и мгновение своей деятельности как моменты тотальности процесса*; они не способны видеть «поражение» как необходимый путь к победе.

Свидетельством единства теории и практики в жизненном труде Розы Люксембург является то, что единство победы и поражения, индивидуальной судьбы и совокупного процесса составляло руководящую нить ее теории и

Роза Люксембург как марксист

жизненного поведения. Уже в ходе своей первой полемики против Бернштейна¹⁸ она показала неизбежность «преждевременного» захвата государственной власти пролетариатом и изобличила вытекающее из этого трусливое оппортунистическое неверие в революцию «как политический абсурд, который исходит из механического развития общества и предполагает, что классовая борьба одержит победу в какой-то исторический момент, определяемый вне и независимо от классовой борьбы»¹⁹. Эта чуждая иллюзий уверенность вела Розу Люксембург в ее борьбе за освобождение пролетариата: за его экономическое и политическое освобождение от материального рабства при капитализме, за его идеологическое освобождение от духовного рабства у оппортунизма. Будучи великой духовной предводительницей пролетариата, она вела свою главную борьбу против этого самого опасного, – поскольку его трудно одолеть, – противника. Ее смерть от рук ее самых настоящих, самых жесточенных противников, от рук Шейдемана и Носке, является поэтому закономерным увенчанием ее мышления и жизни. То обстоятельство, что она при поражении январского восстания, которое она ясно предвидела – теоретически за годы до него, тактически – в момент акции, осталась с массами и разделила их судьбу, является логическим следствием единства теории и практики в ее деятельности, точно так же как и заслуженная смертельная ненависть к ней ее убийц, социал-демократических оппортунистов.

Январь 1921 года

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Что это не является случайным, а следует из сущности буржуазной науки, Маркс убедительно показал в отношении экономических робинзонад. – Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 1. – С. 17 и далее.

² Впрочем, это признает и сам Бернштейн. «На самом деле, – заявляет он, – учитывая агитационные потребности партии, я не всегда делал последовательные выводы из моих критических положений». – E. Bernstein. Voraussetzungen des Sozialismus. IX. Ausgabe. – S. 260.

³ В своей «Антикритике» Роза Люксембург показывает это в особенности применительно к самому серьезному своему критику, Отто Бауэру: Роза Люксембург. Накопление капитала, или что эпигоны сделали из теории Маркса. (Антикритика). – М.: Госиздат, 1922. – С. 40 и далее.

⁴ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. – С. 133

⁵ См. по поводу отношения Гегеля к его последователям отличную работу гегельянца Лассалья «Логика Гегеля и логика Розенкранца»: F. Lassalle. Werke. Bd. VI. – О том, в какой мере сам Гегель придает своей собственной системе ложное наполнение и глубоко корректируется здесь Марксом, который решающим образом развивает его логику, см. статью: «Что такое ортодоксальный марксизм?».

⁶ Rosa Luxemburg. Akkumulation des Kapitals. I. Auflage. – S. 296.

⁷ Ibid. – S. 393.

⁸ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. – С. 134.

История и классовое сознание

⁹ Rosa Luxemburg. Antikritik. – S. 118. – См.: Роза Люксембург. Антикритика. – С. 106.

¹⁰ Г.В.Ф. Гегель. Феноменология духа. – М.: Соцэкономиздат, 1959. – С. 9.

¹¹ Rosa Luxemburg. Sozialreform oder Revolution? – S. 47. – См.: Р.Люксембург. Социальная реформа или революция. – М.: Госполитиздат, 1969. – С. 76-77.

¹² Rosa Luxemburg. Antikritik. – S. 37. – См.: Роза Люксембург. Антикритика. – С. 34-35.

¹³ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.2. – С. 37.

¹⁴ Rosa Luxemburg. Massenstreik. 3. Auflage. – S. 48.

¹⁵ Относительно границ ее воззрений см. статьи «Критические заметки...» и «Методологические заметки к вопросу об организации». Здесь мы довольствуемся изложением ее точки зрения.

¹⁶ Rosa Luxemburg. Massenstreik. – S. 38.

¹⁷ См. также прекрасное место в брошюре Юниуса: Futurus-Verlag. – S. 92.

¹⁸ Rosa Luxemburg. Soziale Reform oder Revolution? – S. 47-48. См.: Роза Люксембург. Социальная реформа или революция. – С. 69 и далее.

¹⁹ Ibid.